ДОРОГИЕ МОИ СТАРИКИ

Выпуск 2



Коллективный сборник

Серия «Серебро Слов»

Дорогие мои старики

Сборник произведений

Выпуск 2



Коломна
Серебро Слов
2019

УДК 821.161.1-3
ББК 84(2Рос=Рус)6-4

Д69

Редколлегия:

Сергей Сергеевич Антипов
Заместитель председателя Правления
Московской областной организации
Союза писателей России

Игорь Евгеньевич Витюк
Заместитель председателя Правления
Московской областной организации
Союза писателей России

Денис Викторович Минаев
Генеральный директор издательства «Серебро Слов»,
секретарь Правления
Московской областной организации
Союза писателей России

Надежда Васильевна Казакова
г. Химки, редактор-составитель сборника

Д69 **Дорогие мои старики.** *Сборник произведений. Вып. 2 / [Авт.; Ред.-сост. Н.В. Казакова].* — Коломна: Серебро Слов, 2019. — 240 с.

ISBN 978-5-907154-25-4

© Авторы, 2019
© Казакова Н.В.,
редактор-составитель, 2019
© Анисимова Е.В., обложка, 2019
© Серебро Слов, 2019

СЛОВО К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы держите в руках удивительную книгу: она как тропинка из прошлого в будущее, как глоток свежего весеннего воздуха, что всколыхнул память, она как исповедь, как признание в любви, как повод задуматься над тем, что минуло, и тем, что нас ждёт.

В подготовке сборника приняли участие шестнадцать авторов — самобытных, ярких, с интересной творческой биографией и судьбой. Не ошибусь, если скажу, что каждый из них достоин, чтобы о нём самом была написана книга. А пока романы, повести, рассказы, стихотворения и поэмы пишут они: наши современники, прозаики и поэты, которым дан Дар тонко чувствовать слово и им рисовать картины нашего бытия.

Кандидат исторических наук **Светлана Бестужева-Лада** (г. Москва) известна многим не только как серьёзный, вдумчивый учёный, но и как журналист и писатель. Её перу принадлежат больше тысячи статей в газетах и журналах, почти полсотни книг прозы, мне же особенно дороги стихи Светланы. Вроде бы о личном, а ведь на самом деле — о глобальном, о всеобъемлющем, об общечеловеческом:

Кажется, вновь наступает зима,
Лёд под ногами похрустывает...
Право, не повод сходить с ума,
Или — стихи писать грустные.

Рук не целуют — и это пустяк,
Лишь бы — не в спину ножом...
Впрочем, бывало и эдак, и так.
Выжили. Живы. Живём.

Несколько нежных, приветливых строк,
Пара звонков телефонных...
Важно сберечь это на зиму, впрок,
Свечкой — в ночах бессонных.

Слышите? Справлюсь со стужей сама,
Только пишите, звоните...
Вот и опять наступила зима.
Сердце — не застудите.

Призыв — «Сердце — не застудите» — в каждой работе слышится, он — в каждой новой строке, статье, книге Светланы Бестужевой-Лада, потому что, по её представлениям, только незастуженное, неравнодушное сердце умеет любить, видеть и чувствовать правду, и искать к ней дорогу, и — находить то, что осталось скрытым от других. В нашем сборнике вы сможете познакомиться со статьёй Светланы Бестужевой-Лада «Фронтовики-инвалиды: правда и мифы». В ней автор исследовала очень непростую, болезненную тему, которую десятилетиями обходила стороной и наша литература, и публицистика.

Ульяна Васильева-Лавриеня (г. Щёлково) на литературном поприще делает первые шаги. К счастью, это тот случай, когда первые шаги и уверенны, и заметны.

После окончания Московской ветеринарной академии Ульяна Васильева-Лавриеня много лет работала зооинженером в сельском хозяйстве Подмосковья, а потом — вы не поверите — стала успешным визажистом! А теперь и ещё один талант в ней раскрылся — писательский. Мать четверых детей, сама выросшая в многодетной семье, Ульяна умеет ценить чистоту человеческих отношений, их искренность и доброжелательность. О вечных ценностях в нашей судьбе — семейных устоях, доброте, верности — рассказы этого автора.

Почётный журналист Казахстана **Сергей Горбунов** (г. Павлодар) испробовал на своём веку немало: работать

начал в комплексной строительной бригаде с четырнадцати лет, отслужил положенный срок в морской авиации, окончил журфак Казахского государственного университета. За плечами почти полувековой стаж работы в журналистике: пройден путь от корреспондента многотиражной газеты до собственного корреспондента республиканской газеты «Казахстанская правда» по Павлодарской области.

Сергей Горбунов автор книг «Красно-белый дед», «Поезд дальнего следования», «Не поле перейти...», «Жизнь продолжается», «Память сердца», «Широка река», коллективного сборника очерков «Экибастуз — моя биография» и ряда других. Он награждён орденом «Курмет» (Почёт), медалью «Ерен енбеги ушин» («За доблестный труд»), знаком «Заслуженный работник просвещения Республики Казахстан».

В сборнике «Дорогие мои старики» Сергей Горбунов представляет читателям два рассказа: о событиях зимы 1941 года под Москвой и о «фронтовых жёнах» — молодых девушках и женщинах, чью честь и доблесть незаслуженно пытались очернить.

Татьяна Гуркова (г. Моршанск), филолог по образованию, член Союза журналистов России, сейчас заведует Моршанским историко-художественным музеем, а этому предшествовали годы работы в средствах массовой информации. Годы, которые научили её в обыденных вещах видеть важное, сочувствовать и сопереживать своим героям. О судьбе человека, потерявшего в один — чёрный — день сорок первого года родителей, рассказ Татьяны Гурковой «Второй шанс».

В городе Углегорске на Сахалине живёт **Иван Данилов**. О себе говорит скупо: «Работал водителем, корреспондентом в газете, редактором в издательстве. Проходил военную службу по контракту. За 11 лет от младшего лейтенанта дослужился до подполковника».

Иван Данилов окончил факультет журналистики Дальневосточного государственного университета. Пишет

интересно и многопланово, пробует свои силы в различных жанрах. Является автором пяти книг. Отдельными изданиями вышли его стихи, сказки, повести. Член Союза журналистов СССР, России, Российского союза писателей. Душевным теплом и сердечностью пронизаны рассказы Ивана Данилова «Мамин юбилей» и «Ванина ёлочка», размещённые в сборнике.

Поэтические произведения **Анны Дьяконовой** (г. Пятигорск) и **Бориса Жилова** (г. Луховицы) звучат светло и печально, как и подобает стихотворениям, возвращающим нас в прошлое, будь то сон о детстве и маме или размышления об отгремевшей войне.

Михаил Забелин (г. Приволжск) окончил переводческий факультет Московского государственного института иностранных языков. Долгое время работал в Госкино СССР, занимался международными связями в области кино, проведением международных кинофестивалей в Москве и Ташкенте. Он также представлял советские фильмы за рубежом, несколько лет проработал в Африке. И всё это время Михаил Забелин много писал, создавая многоплановую прозу для вдумчивого читателя. Тонкий психологизм рассказов автора в полной мере характерен и для романов. Он лауреат премий «Наследие» и «Писатель года». Член Российского союза писателей.

Роман этого писателя «Маска» был издан в издательстве «Altaspera» (Канада). У читателей сборника есть возможность прочитать пять рассказов Михаила Забелина, каждый из которых — ретроспектива давно ушедших или ещё неостывших чувств, событий и переживаний.

Составитель сборника — профессиональный журналист и старший преподаватель вуза — **Надежда Казакова** (г. Химки) подготовила для читателей новый рассказ «Триптих о Садовнике».

Людмила Колбасова (г. Балашиха) пишет истории всю свою жизнь: где бы ни была, что бы ни делала, так и просятся мысли на бумагу. Будучи педагогом по образованию, она

мечтала о карьере врача, работала в системе социальной защиты, и — из гарнизона в гарнизон следовала за мужем, военным лётчиком. Рассказы «Баушки» и «Память сердца», опубликованные в книге, позволяют судить, насколько герои Людмилы Колбасовой умеют дорожить мнением значимых для них людей и доверять им.

Напевная лирика **Иакова Липянского** (г. Рига, Латвия) соткана из любви — к родителям, к России, к богатырям Древней Руси. Родился и вырос в Узбекистане, учился и служил в органах внутренних дел в Латвии, и оттуда, издалека, тянулся и тянется к истокам русского героизма и мужества. Издательство «Серебро Слов» публикует стихотворные произведения Иакова Липянского уже во второй раз. Сегодня его взор обращён на «Поле Куликово», где наши прадеды, не жалея живота своего, защищали Землю и Веру.

Об истории своей семьи рассказывает в «Семейном альбоме» **Петр Панасейко** (г. Тольятти). Его родители переехали с Украины на строящийся автомобильный гигант в 1971 году, без малого пятьдесят лет назад. Однако даже такой солидный срок не смог вычеркнуть из памяти мельчайшие детали детства и семейного уклада.

Величайшим внутренним трагизмом наполнены произведения члена Союза писателей и Союза журналистов России **Георгия Петрова** (г. Москва). Поражают и масштабность внутреннего конфликта, и глубина знаний исторического материала, и стремление к познанию и пониманию сложных характеров героев и описываемых событий.

Выпускник, а затем и преподаватель факультета журналистики МГУ, Георгий Петров долгое время работал в журнале «Советский Союз», газетах «Правда», «Российские вести». Это он придумал название газеты бесплатных объявлений «Из рук в руки» и стал основателем ведомственного музея «История банковского дела в Московском регионе», выпускал альманах «Поэтический Балчуг», занимался исследованием жизни и деятельности своего знаменитого земляка, уроженца села Тасеево, В. Г. Яковенко, Наркома земледелия

России в Совнаркоме В. И. Ленина и видного деятеля Советского государства, репрессированного в 1937 году. Георгий Петров публиковал о нём свои архивные изыскания. Имеет журналист и писатель Г. Петров государственные награды; он лауреат ордена Московской городской организации Союза писателей России «В. В. Маяковский», других знаков отличия, дипломант ряда литературных конкурсов. Член общества «Красноярское землячество в Москве».

В нашем сборнике творчество Георгия Петрова представлено рассказом «В снегах» и воспоминанием «Жить охота!», в основу которых положены реальные события, происходившие в Красноярском крае, на родине писателя.

Любовь Потанина (п. Красногвардейский, Свердловская область) работает учителем начальных классов. Её произведения публиковались во многих сборниках нашего издательства, а также в петербургском литературном альманахе «Край городов», сборнике «Современная литература России» (издательство «Перо»). Наверное, считает Любовь Потанина, «гены дали о себе знать: прапрадедушка, Коробкин Иван Алексеевич, тоже писал стихи, некоторые из них печатались в районной газете». «Повороты судьбы» — так называется новый рассказ Любови Потаниной, который мы разместили в сборнике.

Два блистательных по исполнению и незабываемых по содержанию рассказа — «Отец» и «Бабушка» — созданы человеком талантливым и удивительным. Это **Виктор Прутский** (р. п. Ордынское, Новосибирская область). Сын неграмотных родителей, у которых в доме не было ни одной книги, он окончил школу с медалью, а много позже сам написал замечательную книгу «Встреча». Детство провёл на Украине, где семья ютилась в землянке. Получив высшее образование, стал инженером, но практически всю жизнь проработал в газете: редкий дар Божий невозможно спрятать в себе или зарыть в землю, он должен служить людям.

Анна Шувалова (г. Владимир), которая завершает список авторов сборника «Дорогие мои старики», преподаёт иностранные языки на языковых курсах в учебном центре дополнительного образования.

Она много пишет, её книги охотно издают. Бóльшую часть свободного времени Анна посвящает волонтёрской работе: организует презентации своих произведений и выступает перед читателями, ведёт активную работу по подготовке материалов к 75-летию Великой Победы.

Но и это не всё. Анна Шувалова с неподдельным интересом участвует в социальном проекте Владимирской областной специальной библиотеки для слепых, итогом которого стали книги для незрячих и плохо видящих детей «Как трудно быть ребёнком!» и «Как же всё-таки трудно быть ребёнком!». Аудиозапись авторской книги «Я радугой раскрашу жизнь» Анна сделала специально для инвалидов, попавших в трудную жизненную ситуацию, и подростков из социально-реабилитационных центров.

Для сборника Анна Шувалова подготовила подборку рассказов, посвятив её всем бабушкам в знак благодарности за их любовь и преданность внукам.

...У каждого автора — своя история и свой стиль, своя судьба и свой взгляд на мир, но их произведения, собранные воедино в этой книге, дают нам шанс увидеть коллективный «портрет» нашего вчера, сегодня и, возможно, завтра: неповторимый и правдивый, запечатлённый в родных лицах близких людей на фоне исторических событий.

Надежда Казакова,
автор и редактор-составитель сборника
«Дорогие мои старики — 2»

Светлана Бестужева-Лада

г. Москва

ФРОНТОВИКИ-ИНВАЛИДЫ: ПРАВДА И МИФЫ

О ветеранах Войны, о её героях и жертвах написано и сказано не просто много — очень много. День Победы и семьдесят с лишним лет спустя — великий праздник, нравится это кому-то или нет. Но...

Есть темы, которых почему-то избегают касаться. Или касаются, но на уровне легенд и мифов. Одна из них — уничтожение Сталиным МИЛЛИОНОВ инвалидов исключительно из эстетических соображений. Чтобы не портили своим видом пейзаж восстанавливающейся страны.

Однако, согласно данным статистического сборника «Россия и СССР в войнах XX века. Потери вооружённых сил», во время Великой Отечественной демобилизовано 2 576 000 инвалидов, в том числе 450 000 одноруких или одноногих. Не будет преувеличением предположить, что значительная часть из их числа лишились обеих рук, обеих ног, а то и всех конечностей. Значит, речь идёт о 100 — 200 тысячах бывших фронтовиков.

И вот тут заканчиваются мифы и начинается... нет, не вся правда, но хотя бы её часть. Инвалидов никто не уничтожал физически. Даже те, кто лишился обеих рук и ног, попадали в специнтернаты, только если у них не было близких, способных позаботиться о них. И тут уже речь идёт о десятках тысяч обездоленных. Но это, согласитесь, не та цифра, которой можно спекулировать.

Жизнь тех, кто не погиб, но получил увечья, складывалась неоднозначно. Фронтовики возвращались домой калеками, и жить «нормальной» и полноценной жизнью они не могли. Великолепная «Повесть о настоящем человеке» Бориса Полевого — почти абсолютное исключение из правил, везение на грани фантастики.

Но ведь были ещё целые артели инвалидов. Людей с ограниченными возможностями здоровья постоянно призывали «встать в строй», приводя в пример всё того же Маресьева или тракториста Нилова, который, потеряв ногу и руку, придумал какие-то приспособления, чтобы работать дальше.

Но проблема была в том, что обычным инвалидам не хватало ни протезов, ни колясок, ни других приспособлений, чтобы не то что пополнить ряды трудящихся, но хотя бы просто приблизиться к нормальной жизни.

К слову сказать, их и сейчас хватает далеко не всем.

Миф о тюремных интернатах для ветеранов-инвалидов появился не сразу. Мифологизация началась с таинственной атмосферы вокруг дома на Валааме. Автор знаменитой «Валаамской тетради» экскурсовод Евгений Кузнецов так и писал: «В 1950 году по указу Верховного Совета Карело-Финской ССР образовали на Валааме и в зданиях монастырских разместили Дом инвалидов войны и труда. Вот это было заведение! Не праздный, вероятно, вопрос: почему же здесь, на острове, а не где-нибудь на материке? Ведь и снабжать проще, и содержать дешевле. Формальное объяснение — тут много жилья, подсобных помещений, хозяйственных (одна ферма чего стоит), пахотные земли для подсобного хозяйства, фруктовые сады, ягодные питомники.

А неформальная, истинная причина — уж слишком намозолили глаза советскому народу-победителю сотни тысяч инвалидов: безруких, безногих, неприкаянных, промышлявших нищенством по вокзалам, в поездах, на улицах, да мало ли ещё где. Ну, посудите сами: грудь в орденах, а он возле булочной милостыню просит. Никуда не годится! Избавиться от них, во что бы то ни стало избавиться.

Но куда их девать? А в бывшие монастыри, на острова! С глаз долой — из сердца вон. В течение нескольких месяцев страна-победительница очистила свои улицы от этого «позора»! Вот так возникли эти богадельни в Кирилло-Белозерском, Горицком, Александро-Свирском, Валаамском и других монастырях...»

То есть удалённость острова Валаам вызвала у Кузнецова подозрение, что от ветеранов хотели избавиться: «В бывшие монастыри, на острова! С глаз долой...» И тут же к «островам» он причислил Горицы, Кириллов, д. Старая Слобода (Свирское). Но как, например, в Горицах, что в Вологодской области, можно было «упрятать» инвалидов? Это же большой населённый пункт, где всё на виду.

В открытом доступе нет документов, которые прямо указывают на то, что инвалидов ссылают на Соловки, Валаам и другие «места заключений». Вполне может быть, что эти документы существуют в архивах, но обнародованных данных пока нет. Поэтому разговоры о местах ссылки относятся к мифам.

«Валаамская тетрадь» Евгения Кузнецова является основным открытым источником. Даже не основным — единственным. Но единственный источник — это не убедительное доказательство. Зато — источник мифа о том, что Сталин отправлял инвалидов на Соловки и в Валаам на... расстрел!

Но дело в том, что никто инвалидов не расстреливал. Да, их в принудительном порядке отправляли в особые интернаты, в том числе и на Валааме. Но отправляли только тех, у которых не было семьи, которые кормились — в основном в крупных городах — попрошайничеством и ютились по заброшенным подвалам и прочим подобным местам. Кроме того, беспробудно пили, и мало у кого повернётся язык осудить их за это.

Эдуард Кочергин — советский художник и писатель, автор книги «Рассказы питерских островов» написал про Васю Петроградского, бывшего матроса Балтийского флота, который на войне потерял обе ноги. Он уезжал на пароходе в Горицы, в дом для инвалидов. Вот что пишет Кочергин о пребывании там Петроградского: «Самое потрясающее и самое неожиданное, что по прибытии в Горицы наш Василий Иванович не только не потерялся, а даже наоборот — окончательно проявился. В бывший женский монастырь со всего Северо-Запада свезены были полные обрубки войны, то есть люди, лишённые абсолютно рук и ног, называемые в народе «самоварами». Так вот, он со своей певческой страстью

и способностями из этих остатков людей создал хор — хор «самоваров» — и в этом обрёл свой смысл жизни».

Получается, что инвалиды вовсе не доживали последние дни. Власти считали, что, чем попрошайничать и спать под забором (а у многих инвалидов не было дома), лучше быть под постоянным присмотром и уходом. Через какое-то время в Горицах остались инвалиды, которые не хотели быть обузой для семьи. Тех, кто поправился, — выпускали, помогали с устройством на работу.

Основная задача дома инвалидов — реабилитировать и интегрировать в жизнь, помочь освоить новую профессию. Например, безногие инвалиды обучались профессии счетовода и сапожника. И ситуация с «отловом инвалидов» неоднозначна. Фронтовики с увечьями понимали, что жизнь на улице (чаще всего так и было — родственники убиты, родители погибли или нуждаются в помощи) плоха.

Такие фронтовики писали в органы с просьбой отправить их в дом инвалидов. Только после этого их отправляли на Валаам, в Горицы или на Соловки.

Ещё один миф — что родственники (в основном престарелые родители) ничего не знали про дела инвалидов. В личных делах сохранились письма, на которые отвечала администрация Валаама. «Сообщаем, что здоровье такого-то по-старому, ваши письма получает, а не пишет, потому что новостей нет и писать не о чем — всё по-старому, а вам передаёт привет».

Хотя инвалидам не запрещали общаться с близкими, многие не хотели сообщать о себе, считая, что они лишь усложнят жизнь своей семье. А те, кто уходил на фронт из небольших городов и деревень, считали для себя позорным возвращаться туда, где практически все всех знают, «немощным обрубком», пусть и с полной грудью орденов и медалей.

Первые массовые акции, когда искалеченных ветеранов забирали в интернаты чуть ли не с городских улиц, прошли в конце 1940-х. Современник писал: «...Однажды я, как всегда, пришёл на Бессарабку и ещё не доходя услышал странную тревожную тишину... Я сначала не понял, в чём дело, и только потом заметил — на Бессарабке не было ни одного инвалида!

Шёпотом мне сказали, что ночью органы провели облаву, собрали всех киевских инвалидов и эшелонами отправили их на Соловки. Без вины, без суда и следствия. Чтобы они своим видом не «смущали» граждан...»

Конечно, дело было не в эстетике: советский народ на многое насмотрелся ещё до войны, а уж во время неё и после — подавно. Но вечно пьяные, матерящиеся группы, не просящие, а требующие милостыню и вполне способные запустить камнем или бутылкой в прохожего, общественного спокойствия, естественно, не поддерживали.

К тому же потерявшие всё на войне солдаты становились «свободными» в стране рабов. Они больше не боялись НКВД и милиции. К тому же многие были награждены орденами и медалями. Среди инвалидов было немало Героев Советского Союза. Эти люди видели ад войны, и напугать их чем-либо после этого было невозможно.

Кроме того, власть явно боялась вполне, кстати, реальных угроз исполнения терактов со стороны «военных калек» в отношении её представителей. Бывшие солдаты и офицеры РККА без рук и ног угрожали председателям и ревизорам, ни в грош не ставили начальников и управдомов. Один из арестованных и обвинённых в убийстве секретаря сельсовета на допросе заявил:

— Мне всё равно теперь, быть на свободе или в тюрьме.

Для них действительно не было никакой разницы. Впрочем, им, похоже, было глубоко безразлично их местонахождение: лишившись возможности полноценной жизни, они в массе своей утратили и само желание жить. Случаи суицида в «спецсанаториях» не были редкостью, хотя совершить их калекам было так же нелегко, как и жить вообще.

Особенно это относилось к так называемым «самоварам». Врачи совершали чудеса, чтобы спасти им жизнь, не задаваясь, похоже, вопросом: для чего она им такая и как они будут жить. Я понимаю, что это звучит цинично, но в данном случае слово «гуманность» — злая насмешка. Впрочем, врачи исполняли свой долг, хотя...

Нет, не получается. Об эвтаназии тогда мало кто знал, а если и знал, то совершенно не желал попасть в тюрьму за убийство. Врачам и без того в те тяжёлые дни приходилось несладко. Неосторожное слово, ошибка в лечении — и ярлык «врач-вредитель» обеспечен. Со всеми вытекающими последствиями.

Трудно и неумно обвинять также персонал спецзаведений, куда попадали инвалиды, в не слишком гуманном обращении с пациентами. Работа — каторжная, малооплачиваемая, в непрестанном стрессе от общения с практически безнадёжными пациентами. Немудрено, что забывали вовремя подать судно или помочь поесть. Называть это «издевательством над инвалидами» может только тот, кто жизнь положил на уход за хотя бы одним таким пациентом.

Питание было скудным. Но тогда практически вся страна если не голодала, то недоедала.

Санитары вспоминали, что «пациентов без конечностей выносили во двор, чтобы те подышали свежим воздухом. Иногда их сажали в специальные корзины и с помощью верёвок поднимали на деревья. Получались подобия гнёзд. Иногда инвалидов забывали снять и они умирали от переохлаждения, проведя ночь на морозном, свежем воздухе».

Как уже отмечалось, первая волна депортации военных инвалидов прошла в 1948 году и коснулась прежде всего рядового и сержантского состава. К тому же высылали в основном тех, кто не был награждён высшими правительственными наградами. Вторая волна прокатилась по Советскому Союзу в 1953 году.

Один москвич вспоминал, что у его знакомой, проживавшей на улице Горького, муж был офицером Советской Армии и на войне лишился ног. Он передвигался, сидя в деревянном ящике, и отталкивался от земли специальными палками. Вскоре фронтовик собрал возле себя целую компанию таких же военных инвалидов. Они носили военные френчи и гимнастёрки, а на их груди «висела география Европы».

Женщину предупреждали, чтобы она не выпускала мужа на улицу. В итоге в начале 1950-х его забрала милиция и вывезла в один из «санаториев» для инвалидов, расположенный где-то под Омском в Сибири.

Следующий хозяин Кремля Никита Хрущёв также не особо церемонился с покалеченными ветеранами. Во времена его правления военных инвалидов продолжали считать «нищенствующим элементом». В феврале 1954 года Министр внутренних дел СССР С. Круглов докладывал в Президиум ЦК КПСС, что «несмотря на принимаемые меры, в крупных городах и промышленных центрах страны всё ещё продолжает иметь место такое нетерпимое явление, как нищенство».

Органами милиции было задержано нищих: во 2-м полугодии 1951 г. — 107 766 человек, в 1952 г. — 156 817 человек, в 1953 г. — 182 342 человека. Среди задержанных нищих инвалиды войны и труда составляли 70%. Но очень многие отказывались от направления их в дома инвалидов. Или самовольно оставляли их и продолжали побираться.

Хрущёв в кардинальном решении «инвалидного вопроса» даже превзошёл своего предшественника. Именно в начале его «царствования» появился этот документ: «Доклад МВД СССР в Президиум ЦК КПСС о мерах по предупреждению и ликвидации нищенства. 20.02.1954. Секретно.

МВД СССР докладывает, что, несмотря на принимаемые меры, в крупных городах и промышленных центрах страны всё ещё продолжает иметь место такое нетерпимое явление, как нищенство. За время действия Указа Президиума ВС СССР от 23 июля 1951 г. «О мерах борьбы с антиобщественными, паразитическими элементами» органами милиции... было задержано нищих: во 2-м полугодии 1951 г. — 107 766 человек, в 1952 г. — 156 817 человек, в 1953 г. — 182 342 человека... Среди задержанных нищих инвалиды войны и труда составляют 70%...

Борьба с нищенством затрудняется... тем, что многие нищенствующие отказываются от направления их в дома инвалидов... самовольно оставляют их и продолжают нищенствовать... В связи с этим было бы целесообразно принять дополнительные меры по предупреждению и ликвидации нищенства. МВД СССР считает необходимым предусмотреть следующие мероприятия:

...3. Для предотвращения самовольных уходов из домов инвалидов и престарелых лиц, не желающих проживать там, и лишения их возможности заниматься попрошайничеством часть существующих домов инвалидов и престарелых преобразовать в дома закрытого типа с особым режимом...

Министр МВД С. Круглов»

В тот период появились и другие подобные «заведения». Все они располагались в отдалённых, скрытых от глаз людских местах, чаще всего в заброшенных монастырях — Кирилло-Белозерском, Александро-Свирском, Горицком...

А ведь кого-то из покалеченных войной солдат искали — их матери, жёны, сёстры. Немало женщин в послевоенную пору писали запросы в дома инвалидов, а то и сами приезжали: «Нет ли у вас моего?»

Но удачи были редкими. Некоторые калеки сознательно отказывались объявляться перед родственниками, даже скрывали настоящее имя: так сильно не хотелось показывать близким людям своё уродство, беспомощность, которыми наградила война.

В итоге эти люди оказались «вне исторической памяти». И до сих пор узнать правду о тех, кто коротал век в специнтернатах для ветеранов войны, пытаются в основном лишь отдельные энтузиасты.

В 2003 г. удалось организовать экспедицию на Валаам. Записали воспоминания старушек, которые когда-то работали в специнтернате. Позднее удалось поработать с архивами валаамского дома инвалидов, вывезенными после его перевода в 1984-м оттуда в карельский поселок Вырица.

В результате документально подтвердилась смерть на Валааме около 50 ветеранов Великой Отечественной, но это далеко не полный список. (Хотя надо сказать, что рассказы о якобы очень высокой смертности среди обитателей интерната не подтверждаются.)

Нашлись данные о количестве «контингента» на острове. Скажем, в январе 1952-го здесь находился 901 инвалид, в декабре того же года — 876 инвалидов, в 1955-м их количество возросло до 975 человек, а потом начало постепенно снижаться — 812, 670, 624... К декабрю 1971 г. по документам значится 574 инвалида...

В послевоенные годы интернаты для содержания солдат-инвалидов существовали едва ли не в каждой области России. Но из них известны лишь немногие. Общество почти сознательно сторонится этой темы — как и темы провинциальных психиатрических лечебниц и домов престарелых. Потому что — стыдно и страшно? Нет, потому, что подсознательно многие боятся там оказаться.

Не буди лихо, пока оно тихо.

На могилах инвалидов, умерших в «домах скорби» для ветеранов войны, ставили деревянные столбы с пятиконечными звёздами, однако со временем эти «монументы» истлели. А вместе с безымянными холмиками растворились на заброшенных погостах всякие следы, которые могли бы рассказать о судьбах сотен советских солдат, которые так и остались до сей поры в разряде безвестно сгинувших.

И всё-таки возникает чувство: что-то здесь не то, некая демонизация реальности получается... Вправду ли «сотни тысяч» калек-ветеранов рассовали по тюремным интернатам? Ведь их в целом-то было не более 500 тысяч, и подавляющее большинство вернулось к семьям, работали на восстановлении страны, кто как мог — без руки или ноги. Это же в памяти народной сохранилось!

Утверждение, что на «холодный остров» свозили тунеядствующих ветеранов-инвалидов из крупных городов СССР, — это миф, который почему-то до сих пор поддерживается. Из документов следует, что очень часто это были уроженцы Петрозаводска, Олонецкого, Питкярантского, Пряжинского и других районов Карелии. Их не «вылавливали» на улицах, а привозили на Валаам из «домов инвалидов малой наполняемости», уже существовавших в Карелии, —

«Рюттю», «Ламберо», «Святоозеро», «Томицы», «Бараний берег», «Муромское», «Монте-Саари». Различные сопроводиловки из этих домов сохранились в личных делах инвалидов.

Миф о тюремных интернатах для ветеранов-инвалидов появился не сразу. По всей видимости, всё началось с таинственности, что окружала инвалидный дом на Валааме.

Никакой «тюрьмы» не было и в Горицах, и «обрубков войны» там не прятали. Чем спать под забором, уж лучше пусть живут под медицинским надзором и уходом — такова была позиция властей. Спустя время в Горицах остались только те, от кого отказались родственники или кто сам не пожелал явиться к жене в виде «обрубка». Тех же, кого можно было подлечить, лечили и выпускали в жизнь, помогая с трудоустройством.

Те, кто постарше, помнят, что в Советском Союзе было не принято выставлять напоказ проблемы и трудности, привлекать к их решению средства массовой информации и общественность. Благотворительность? Тогда и слова-то такого не знали, точнее, знали, но считали его неизбежным элементом капиталистической системы.

Доходило, впрочем, и до абсурда: потерявший на войне руку или ногу человек, разумеется, официально становился инвалидом. Но обязан был ЕЖЕГОДНО свою инвалидность подтверждать, как если бы утраченная конечность могла восстановиться. И это несмотря на то, что получившие любую группу инвалидности граждане впоследствии лишались её чрезвычайно редко.

Чем меньше оставалось в стране инвалидов и участников Отечественной войны, тем больше и охотнее заботилось о них государство. Уже можно было показать, что защитников Родины действительно уважают. Квартиры и машины — без очереди, особые пайки, возможность приобрести дефицитные товары. Дошло до того, что семьям, в которых были бывшие фронтовики, начинали завидовать окружающие. А властям — открыто говорить на эту, прямо скажем, щекотливую тему.

Но не стало СССР. И вместе с ними не стало всех тех, пусть и небольших, льгот, которые имели фронтовики. Можно представить себе, как горько было людям видеть разрушение всего того, что они защищали, не щадя жизни и здоровья. Зато тоталитарное государство сменилось государством якобы демократическим.

Единственное, что сохранилось, — День Победы. Хотя и над ним сегодня издевается так называемая «либеральная пресса»: как можно праздновать то, за что миллионы людей отдали жизнь? Достойно можно праздновать, хотя бы так отдавая дань памяти известным и неизвестным героям.

Когда мы вспоминаем Великую Отечественную войну, в памяти предстают не только флаг над Рейхстагом, салют Победы, всенародное ликование, но и людское горе. И одно с другим никак не смешивается. Да, эта война нанесла чудовищный урон стране. Но радость Победы, осознание своей правоты и силы не должно погребаться скорбью — это было бы предательством по отношению к тем, кто отдал жизнь за Победу, кто кровью добывал эту радость.

Ульяна Васильева-Лавриеня

г. Щёлково, Московская область

МОРОЖЕНОЕ

Оно пахло восхитительно вкусно — ванилью и карамелькой. В чуть примятом вафельном стаканчике с круглой голубой этикеткой на кособокой макушке. Нежное, уже слегка подтаявшее, оно манило своей сливочной прохладой. Я держала его в руке и уже предчувствовала, как маленькими кусочками буду откусывать хрустящую вафельку и слизывать приторно-сладкую вкуснятину... И в этот момент я проснулась.

— Мам, а где мороженое?

— Уля, какое мороженое? Не было его... Тебе, может, приснилось?

Я тёрла кулачками глаза, ещё не осознавая границу между сном и явью. Эх, оно было такое вкусное... Но во сне. Досадно. И зачем я не вовремя проснулась?

— Мам, я мороженое хочу!

— Да где ж его взять? У нас в магазине мороженого сроду не было. Выдумала тоже. Вон — манную кашу сварила, иди ешь.

О, какая каша? Перед глазами стояло мороженое...

— Не буду кашу! Я мороженое хочу!

— Ну какая капризная девчонка! Мне на дойку уже пора. Нечего тут.

Мама ушла, а я осталась страдать без мороженого и всякой надежды на его получение. Без энтузиазма поковыряла в тарелке такую любимую раньше кашу, вышла во двор.

Серый Котофей ткнулся влажным носом в ладонь, внутри у него заурчала какая-то невидимая машинка, он перевернулся на спину и зажмурил коньячно-зелёные глаза. Лохматая Стрелка поскуливала возле конуры и махала чёрным хвостом, пытаясь привлечь моё внимание. Суетливые куры барахтались под кустом сирени в тёплой пыли, наседка с жёлтыми пушистыми цыплятами выискивала червяков

на огороде. Разноцветный красавец петух генералом прохаживался рядом, зорко охраняя свой гарем. Солнце нещадно слепило глаза, покачивались на ветерке высоченные мальвы.

Поплелась к маме на ферму. Она работала там телятницей. Хозяйство у неё было обширное, а питомцы — беспокойные. Новорождённые телята требовали неусыпной заботы, появлялись они на свет без всякого расписания, как вздумается, из-за чего мама практически постоянно была на работе.

Её трудовой день начинался ещё до рассвета и, с небольшими перерывами, длился до позднего вечера. Нужно было подоить коров, а после из алюминиевых бачков с чёрными резиновыми сосками напоить широколобых телят тёплым молочным чаем. У мамы был особенный рецепт, она заваривала в большой кастрюле дубовую кору, черёмуху, шалфей, душицу и нежное лесное сено. На таком пойле телята росли крепкие, с лоснящейся шелковистой шёрсткой.

А ещё нужно было менять им соломенную подстилку, белить извёсткой деревянные клетки, в которых по одному или по двое под греющими лампами жили её маленькие подопечные. В соседнем большом помещении находились только что отелившиеся коровы. Их мама доила трижды в день, поила водой, раздавала им в кормушки кисло пахнущий силос и сено, посыпанное мелом и крупной солью.

Летом было чуточку легче — и телят рождалось не так много, и коровы паслись в стаде на пастбище. Осенью и зимой мама практически переселялась на ферму. В сутки рождалось порой по пять — семь телят, нужно было помочь им появиться на свет, потом через час подоить корову-мамку и напоить новорождённого тёплым молозивом.

К этому времени телёнок уже нетвёрдо стоял на своих ножках под тёплой лампой, обнюхивал золотистую соломенную подстилку, глазами-сливами рассматривая незнакомый мир вокруг. Очень забавные, они были разного цвета: палево-бежевые и бурые со светлыми пятнами, а один родился совершенно белым, как зайчик, — так мы его и назвали.

— Чего надулась, как мышь на крупу? Лучше помоги вот этого рыженького напоить, посмотри, какой красавец ночью

у Зорьки родился. Я пока Дыню подою. — Мама села на маленькую скамеечку возле высокой бело-серой, с длиннющими изогнутыми рогами, коровы.

— Мам, а давай в Нованинку съездим... за мороженым.

— Да что ж ты выдумала-то? Ну кто это ради одного мороженого в такую даль ездит? Туда же не так просто добраться — двадцать километров пути. Да и времени вон сколько, это с утра нужно ехать с молоковозом, сейчас автобуса не будет.

Я молча держала бачок с соской, новорождённый телёнок с аппетитом пил ароматную смесь парного молозива и тёплого сенного отвара, время от времени подталкивая бачок, будто мамино вымя. А мне было очень грустно.

— Ну ладно! — наконец сказала мама. — Поедем. Только давай доделаем все дела. Подмести пол нужно и вот эту клетку побелить.

Что за пустяки — побелить и подмести, если впереди ждёт поездка в город!

— Мам, я сейчас! Я всё сделаю!

Дома мы с мамой быстро умылись, надели чистые платья, мама повязала голову капроновым платочком с жёлтыми кленовыми листьями. Я с нетерпением крутилась рядом. За минуту была съедена манная каша, и путешествие началось! Дорога до грейдера* неблизкая — сначала нужно было пройти по нашему переулку, потом миновать почту, потом магазин — там продавцом работал высокий пожилой дядечка со смешным именем Дядя Кузьма, — а потом ещё долго идти степью по хрустящей высохшей серебристой полыни. Из неё выскакивали и разлетались в разные стороны серо-зелёные кузнечики и золотистые мотыльки. По пути нам встретился огромный круглый каменный жёрнов, из отверстия в его центре торчала ржавая железная ось. Он лежал на боку, будто потерянный великаном волчок.

Я еле успевала за мамой. Худенькая, невысокого роста, она всегда ходила стремительно, маленькими шажками, как будто вышивала строчку, накрепко соединяя множество

* Грейдер (здесь и далее) – просторечное название дороги, построенной при помощи дорожной машины вида (типа) грейдер.

самых разных дел. Слегка склонив голову набок, мама что-то тихонько напевала. Она никогда не бывала одна — вокруг неё находилось столько разных предметов, с которыми она разговаривала, как с живыми.

— Ну и что ты, жёрнов, здесь лежишь? И не нужен ты никому больше. Столько ведь людей за свою жизнь ты накормил, а они тебя бросили тут...

Мне было весело. Хотелось догнать всех мотыльков, поймать кузнечика, рассказать маме, как Котофей встал на задние лапы, а передние положил мне на плечи и ростом был почти с меня!

— До кургана дошли, теперь уже немного осталось до грейдера. А там, может, и автобус будет или попутка какая.

Посреди степи высокой сизо-зелёной шапкой возвышался курган. Это было самое непонятное место на земле. Старшие рассказывали, что целую тысячу лет назад здесь похоронили самого главного монгольского хана и вместе с ним засыпали землёй золотую карету и целое ханское войско. Курган я боялась, поэтому на всякий случай взяла маму за руку.

— Вот и пришли. Ты, дочка, карауль машину, а я прилягу вот здесь, на травке. Устала я что-то.

И мама, положив под голову ладонь, задремала на обочине, прямо на высохшей — и поэтому колючей — траве, а я села рядом и стала ждать попутку. Время нестерпимо медлило. Солнце, перевалив за полдень, раскалило асфальт, и горячий воздух танцующим маревом поднимался над дорогой.

Тень от меня получалась маленькой и только самым краешком закрывала мамино лицо. Ковыль седыми волнами покачивался между колючками перекати-поля. Кукушка в лесополосе отсчитывала кому-то долгие годы жизни. За дорогой на поле любопытными мордочками следила за мной армия подсолнухов. И где-то высоко-высоко в безбрежно-голубом безоблачном небе выводил свою песню жаворонок.

Кузнечики, как маленькие катапульты, стайками перелетали мимо нас, издавая при этом сухие щелчки. Большой бархатный шмель с золотисто-жёлтыми шариками собранной на ножки пыльцы тяжело плюхнулся на мамин платочек, пополз, щупая усиками нарисованные кленовые листочки в надежде найти ещё что-нибудь вкусное и полезное. Я испугалась, что он может потревожить и без того чуткий мамин сон, и сухой былинкой пересадила незваного гостя к себе на платье.

Послышался рокот двигателя, со стороны райцентра показался грузовик. Он замедлил ход, съехал на обочину и вдруг пшикнул воздухом, словно отгонял зазевавшуюся курицу. Из кабины спустилась высокая худая женщина в ситцевом платье и голубой косынке. Её крепкие загорелые ноги были обуты в зелёные тапочки, в руках она держала две сетки-авоськи. В одной было несколько буханок хлеба, а в другой — серо-коричневые кульки и свёртки. Грузовик, выпустив клубы сизого дыма, уехал дальше, женщина пересекла дорогу и подошла к нам. Это была доярка тётя Нюся, она тоже работала на ферме.

— Это куда ж вы на ночь глядя собрались?

— Да вот Уля мороженого захотела. Пришлось собираться, а автобуса уже нет. И попуток тоже ни одной.

— Ой, да нету там мороженого. Я все магазины обошла. Моя Галя тоже просила. И не ездите зря.

— Видишь, дочка, нет мороженого. Жара такая, вот и не возят его в магазины. Растает, и всё. Пойдем, Уля, домой.

Неспешно потянулась дорога обратно. Мимо кургана с его страшной тайной, мимо грустного жёрнова, брошенного людьми, мимо полчищ кузнечиков, мимо магазина с Дядей Кузей, мимо почты — до нашего зелёного переулка с раскидистым кустом сирени и колючим боярышником. К чёрной лохматой собаке Стрелке и огромному коту Котофею.

неДЕТСКОЕ

Весенние каникулы, замечательное время... Можно с раннего утра гулять на улице, пускать корабликами щепки в сбегающий с берега мутный говорливый ручей и строить на его пути плотины из смёрзшихся снежных комков. Потом

прислониться спиной к тёплой печке, отогревать окоченевшие руки и промоченные ноги и, завернувшись в большой пуховый платок, шуршать потихоньку страничками принесённых из библиотеки книг. Уже отложены в сторону Пришвин, Паустовский и Бианки, пережиты истории Тимура и Мишки Квакина, вместе с папой прочитаны забавные рассказы Даррелла.

И вот горячее детское воображение переносит меня в вымирающие от голода поволжские степи. Вместе с Мишкой Додоновым я отправляюсь в Ташкент — город хлебный. Под огромным вагонным колесом не на жизнь, а на смерть сражаюсь с такими же бедолагами за пыльную корочку хлеба; прижимаюсь к горячему боку пыхтящего паровоза; горько оплакиваю смерть друга Серёжки и рассматриваю верблюдов в бескрайних киргизских степях.

В этот момент неожиданно и вместе с тем ободряюще мягко рука отца ложится на моё плечо.

— Пап, но ведь это писатель всё придумал, правда? Так не было же, да? Нам в школе говорят, что при царе народ очень плохо жил, что революция всех бедных сделала богатыми и всем сразу стало хорошо.

— Как тебе сказать, дочка...

Папа присел на низкую скамеечку перед печкой, достал из нагрудного кармана коричневый янтарно-прозрачный мундштук, тонкой проволочкой прочистил его канал и осторожно продул, словно нежную флейту перед сольным выступлением в консерватории. Из серебристого портсигара извлёк сигарету «Шипка», тонкими, слегка подрагивающими нервными пальцами вставил её в мундштук. Открыв чугунную дверку, кочергой растормошил горящие поленья и прикурил от подкатившегося к краю багрово-синего уголька. Некоторое время он молча смотрел в огненное жерло, дым от сигареты кружевной струйкой витиевато втягивался в топку.

Я притихла и, прижимая к груди книжку, ожидала продолжения разговора. Отец задумчиво улыбнулся каким-то своим неведомым мыслям и произнёс:

— Хочешь, я расскажу тебе, как я не видел царя?

— Конечно, хочу, — рассмеялась я, — обычно же рассказывают, как видели.

— Далёкое-далёкое детство... Мне года три тогда, или четыре, не больше. Не могу сказать, поздней осенью или ранней весной матушка наша собрала нас, младших, одела потеплей и повела смотреть царя. Он тогда в Москву приехал и должен был проследовать по улицам в Кремль.

Шёл дождь со снегом, ветер холодный дул, мостовая вся покрылась коркой льда. Я сильно устал, казалось, что мы очень далеко шли. На тротуарах стояли толпы горожан, все старались поближе к дороге протиснуться. Городовые в чёрных шинелях с блестящими бляхами на груди отгоняли людей назад. И вот издалека раздался цокот копыт, все закричали, стали руками махать.

Из-за поворота показался сначала отряд конников; на высоких красивых лошадях проскакали казаки — в синих черкесках, ремнями перетянуты, папахи чёрные на головах. У всех шашки на боку. Снег из-под копыт в разные стороны полетел, мне в лицо попал. Пока я отряхнулся, смотрю — упряжка катит с каретой, окошко занавеской прикрыто. И следом ещё группа всадников пронеслась. Спрашиваю у мамы: «А где царь?» «Да вон он, в карете проехал», — отвечает. И пошли мы домой.

— А потом, пап, ты видел царя?

— Нет, дочка, не видел. Началась вскоре война с Германией, потом революция, и всё стало совсем по-другому.

— А в Москве вы где жили? — не унималась я.

— На Солянке. Есть такая улица в центре.

— Солянка? Смешное название!

— Здесь давным-давно царский соляной двор находился, оттуда и пошло название. Это старый район Москвы, там тихие улочки, камнем вымощенные, сады яблоневые, дома невысокие. Мы рядом с женским монастырём жили во флигеле. Я, самый младший в семье, да четыре сестры: Васса, Лидия, Мария и Клавдия. Отец инженером был, он починить мог любой механизм — от паровоза до карманных часов. Это нас и спасло в Гражданскую войну. Мама нашим воспитанием занималась. Однажды родителям дали для моих сестёр

приглашение в этот женский монастырь на праздник Рождества, а мне тоже хотелось пойти. Тогда меня нарядили в платье с кружевами, бант в кудрявые волосы повязали, объяснили, чтоб я никому не говорил, что я мальчик. Там, на празднике, монахини стали подарки раздавать, и мне протянули куклу. «Не хочу куклу, — говорю, — хочу паровоз!» Монахиня удивилась: девочки играют в куклы, а не в паровозы. «А я не девочка, я мальчик!» — говорю им. Все смутились, а я себе выбрал зелёную деревянную бочку с черпаком на тележке с колёсами. Так за верёвочку и прикатил её домой. Такая вот из меня «девочка» получилась.

Я представила себе эту картину и громко расхохоталась.

— Пап, а ещё что-нибудь расскажи, а...

— Мы с друзьями зимой катались на санках прямо по мостовой. Улочки у нас извилистые, узкие, да к тому же место холмистое, неровное — страшно, когда из-за поворота неожиданно возок выскакивал. Ямщик кричит: «Пади! Пади!» — мы кубарем на обочину летим. Как нас лошади не затоптали тогда, один Бог ведает.

Как-то летом маляры красили крышу нашего дома. Дождались мы, когда они обедать ушли, через слуховое окно выбрались наверх. Дом двухэтажный, крыша покатая, жестяная; таз с краской стоит, кисти рядом лежат. Скользко, высоко, жутко. Подтянули мы этот тазик к самому краю крыши, подтолкнули легонечко. Такая звезда во дворе получилась! Мы — на чердак и по чёрной лестнице дёру дали.

— Что вам за это было?

— Сошло с рук. Все подумали, что таз сам с крыши упал. А я вот эту звезду до сих пор помню. — Отец не спеша сполоснул свою большую эмалированную кружку, насыпал в неё заварку из жёлтой картонной пачки с весёлым слоном на фоне древнеиндийского храма, налил кипятка из поющего на плите чайника, вдохнул горячий аромат. — И такая вот история была однажды...

— Как-то Клавдии подарили кувшинчик — маленький, настоящего китайского фарфора. Сквозь него солнце просвечивало, такой он изящный и тонкий. Дождался я, когда Клава

ушла гулять, зашёл к ней в комнату. Смотрю на заветный кувшинчик, насмотреться не могу. Привязал к его ручке нитку, опустил в окошко на улицу, кувшинчик раскачивается, вертится. Солнце в золотой каёмке искрами разбрызгивается, в кобальтово-синем бочке небо голубое отражается. И всё бы хорошо, да узелок развязался — кувшинчик вдребезги о мостовую.

— Тебя наказали за это?

— Отец очень строго посмотрел, мама головой покачала, укоризненно так. Клавдия расстроилась, порой вспоминает эту историю. Вот и всё наказание. Я, когда сам зарабатывать начал, искал такой же кувшинчик на замену. Не нашёл — видно, единственный он был. Эх, заговорились мы с тобой, скоро мама с работы придёт. Может, сварим супец? Бульон уже готов.

— Пап, я не умею суп варить.

— Ты будешь делать, а я тебе подсказывать, и всё у нас получится.

— Только ты дальше рассказывай, ладно?

Пока я неумело чистила картошку, отец принёс большой корявый пенёк и несколько поленьев поменьше. Присев на скамейку, уложил в печку дрова. Наш большой серый Котофей подошёл к нему и ласково потёрся о коленку. Папа, нелепо оттопырив руку и не касаясь кота ладонью, локтем отодвинул его в сторону.

— Иди-ка, животное, не крутись тут, не люблю я это. Знаешь, Уля, пень, хоть и сухой, в одиночку гореть не будет, а вот с союзничками столько жару даст! Так же и в жизни: один человек, даже самый умный и сильный, мало что может сделать, но вместе с единомышленниками он горы свернёт!

— Расскажешь что-нибудь ещё, пап?

— Что же тебе рассказать-то? — отец задумался, теребя в руках только что полученную газету. Она мелко подрагивала, шелестела, в его пальцах словно продолжала жить своей жизнью. — Пожалуй, вот эту историю.

— Недалеко от дома, буквально на соседней улице, располагался собор, красивый, немецкий. Там играл настоящий

орган, музыка просто завораживающая, божественная. Мы туда с мальчишками бегали. Старшие сёстры учились в гимназии, а я по своему малолетству проходил обучение дома. Однажды расшалился, сбежал по лестнице вниз, а там моя матушка разговаривала с каким-то важным господином, и я уткнулся в его мохнатую шубу. Он меня отстранил немного, весело так посмотрел и сказал: «Нехорошо так, молодой человек, нехорошо». Позже я узнал, что это к нам заходил Савва Мамонтов.

— А дальше?

— А дальше началась Первая мировая война. Черносотенцы в Москве громили немецкие и еврейские кварталы, а мы как раз в таком и жили. Вот тогда нам пришлось переселиться в «Пьяный дом».

— Пьяный? Разве дом может быть пьяным?

— Доходный дом. Что-то вроде общежития. Там сдавали недорогие маленькие квартиры. Бегу я как-то, а по противоположной стороне улицы Васса идёт, и под локоть её поддерживает высокий красивый офицер. Она в то время уже была студенткой университета Шанявского, жила отдельно от нас. Я кричу ей: «Васса, Васса, а мы теперь в «Пьяном доме» живём», — только она сделала вид, что меня не слышит. Неловко ей стало, что у нас всё так сильно изменилось.

А вскоре произошла февральская революция. В Москве митинги шли, Лидия прибежала домой, папе говорит: «Там на митинге люди кричат: «Режь публику!»» — а отец ей газету показывает и спокойно так отвечает: «Не бойся, это они «республику» требуют».

Потом, осенью семнадцатого года, на улицах Москвы начались бои, стало совсем опасно, и родители решили уехать к родственникам в Поволжье, в станицу Островскую. Васса и Лидия остались в Москве, уже взрослые, они работали в книжном магазине, а нас — Марию, Клавдию и меня — увезли. Поселились мы в деревенской избе, непривычно так, чудно. В восемнадцатом году началась эпидемия холеры, тогда и наша мама умерла.

— Пап, тебе ведь только девять лет было?!

— Да, Улейка, девять. Как тебе сейчас.

— Как же это произошло?

— Она на местный базар пошла, выменять продукты на вещи, там вишенку съела. Этого хватило, чтоб заразиться. Тех, кто от холеры умер, хоронили в общей могиле, ров большой вырыли, тела хлоркой пересыпали.

— Ой, страшно как!

— Мы глупые совсем были, с мальчишками бегали по кладбищу на покойников смотреть. Детство смерти не боится, потому что пока ещё страх жизненным опытом не накоплен. Это сейчас у меня мурашки по спине, а тогда...

— Как же вы жили после смерти мамы?

— Тяжело. Спасало то, что отец многое умел. К нему несли в починку всё, что ломалось: примусы, дверные и амбарные замки, швейные машинки. Он и самовары паял, и серьги с кольцами. А уж сколько он восстановил всяких часов самых разных систем!

Когда Гражданская война началась, власть в станице всё время менялась. Загромыхает вокруг, пальба-стрельба, крики — красные захватили станицу: повесят красный флаг, свои порядки начинают устанавливать. Приходят к нам, часы в ремонт несут. А ночью снова трам-тарарам, пулемёты, взрывы — это белые в Островскую ворвались. Красный флаг срывают, свои знамёна вывешивают. И тоже часы несут. И так по многу раз: то красные, то белые, то анархисты, то зелёные, то просто бандиты без всякой политики, опознавательных знаков и стягов.

Власть менялась, а часы иногда оставались. Потом, когда уже стало понятно, что прежние хозяева за своими хронометрами не вернутся, выменивали продукты за них.

— Пап, а где вы прятались, когда стрельба начиналась?

— Если очень сильно стреляли, то в подпол спускались. А когда боёв не было, с друзьями бегали смотреть, кто на сей раз станицу захватил. Летом купаться на Иорданку ходили, рыбу ловили. А с Сашкой Кибальниковым* мы потом в саратовском художественном училище вместе оказались.

* Александр Павлович Кибальников – советский скульптор. Народный художник СССР; лауреат Ленинской и двух Сталинских премий второй степени. Действительный член АХ СССР.

Помню, как-то наш сосед решил поучаствовать в сельскохозяйственной выставке. Очень ему хотелось главный приз получить. Возникла у него идея: вырастить тыкву с портретом Ленина. Попросил меня, и я по фотографии в газете на маленькой тыковке нацарапал гвоздиком такое изображение. Росла, росла тыква, да и к осени выросла — кривобокая только получилась. И вместо лица вождя — чудовище какое-то кривоглазое.

— И что вы с ней сделали?

— Порубили на куски и корове скормили. Разве можно такое людям показывать. Обвинят в какой-нибудь контрреволюции, и дело с концом. Как раз в это время Марию нашу убили, и мы остались втроём.

— Как — убили? Она, что ли, воевала?

— Нет, дочка, не воевала она. Мария красивая и умная девушка была. Расстреляли её у красной мельницы. Это тяжёлая история, я потом тебе всё расскажу. Когда подрастёшь немного.

Отец замолчал, закурил снова, долго молча смотрел в окно. Дым от его сигареты колечками поднимался к потолку нашей неказистой хатёнки, столбик пепла становился всё длиннее и длиннее, пока сигарета не истлела до самого мундштука.

— Пап, а сколько лет исполнилось Марии, когда она погибла?

— Восемнадцать. Всего лишь восемнадцать.

— Что же дальше?

— В девятнадцатом году голод начался. Засуха, неурожай. Да и все запасы зерна и продуктов у крестьян изымали для рабочих. Очень много людей тогда умерло от голода. Бандиты орудовали, скот угоняли. Мы как-то с друзьями засиделись на берегу допоздна. Смотрим, а какие-то люди быкам копыта тряпками обмотали и в степь угнали. Если б они нас заметили, несдобровать бы нам тогда. Когда уже совсем невмоготу стало, отец решил, что пора из Островской уезжать, да и Клавдия уже в городе училась.

— Вы в Москву вернулись, в свой дом?

— Нет, в Москву нам уже некуда было возвращаться. Да и там жизнь тоже несладкая стала. Поехали мы на Кавказ,

в Баку. На нефтяные прииски. Отец рассчитывал устроиться инженером на нефтеперегонный завод. Выменял он за часы билет на поезд, и поехали мы в «землю обетованную», как отец говорил.

Долго ехали. То паровоза нет, то путь занят, то начальник какой-нибудь станции разрешение на проезд не даёт. Народу тьма. Всюду крики, ругань, драки. Дети плачут, бабы воют. Мешки, баулы, ящики; всё непонятно, всё перемешано. Жара чудовищная, вода протухшая. Туалетов нет, мухи, грязь, вши. Многие тифом заболели, и мой отец заразился. Уже в Азербайджане на станции Гянджа всех заболевших и умерших сняли с поезда.

— И твоего отца тоже? У вас же был билет!

— Что билет? Всех снимали без разбора: и с билетами, и без них, с полок, с крыш, с тамбурных площадок. В сквере возле станции положили рядами. Там он и умер, там и похоронили его в общей могиле. Я, когда взрослым стал, ездил потом туда, в Гянджу. Вместо этого сквера теперь автостанция и площадь, асфальтом покрытая. Цветы прямо на дорогу положить пришлось.

— А как же ты? Ты дальше поехал?

— Нет, дочка, мне дальше некуда было ехать, да и незачем. Поезд ушёл, а я остался в чужой Гяндже. И страна чужая, и люди кругом чужие, и язык чужой, непонятный. Ни одной родной души рядом. А у меня — ни билета, ни денег.

— Сколько ж тебе лет тогда было?

— Четырнадцать мне весной исполнилось.

— Пап, а как ты возвращался?

— Долго. Почти три года.

— Три года? Ты пешком, что ли, шёл?

— По-всякому. Иногда и пешком. Мне сначала вроде повезло очень. Один духанщик нанял меня расписывать стены в его чайхане. Обещал заплатить, чтоб я билет купил на обратную дорогу. Нарисовать нужно было гору высокую со снежной вершиной, на её фоне скачущего на чёрном коне всадника. И чтоб он был в развевающейся на ветру бурке и высокой папахе, в черкеске с газырями. У коня морда со свирепым взглядом, а на лице всадника лихо закрученные чёрные усы.

Раз в день духанщик мне давал лепёшку и пиалушку простокваши, ночевал я тут же, на деревянном топчане. Когда я закончил работу и попросил расчёт, то хозяин мне ничего не дал.

Мол, кормил меня столько времени, и жил я у него. А если не уберусь, то прибьёт меня и в канаву выбросит: «Кому ты нужен, сирота голодранская? Кто тебя искать будет?» Дал я оттуда дёру на станцию, прибился к таким же бездомным. Вместе и добирались. Вот как в твоей книжке описано.

— Но ведь это опасно?

— Что делать, если ехать нужно? В вагон без билета не попадёшь, мы под вагон залезали — в собачий ящик, или на крышу забирались. Распластаешься по ней, как ящерица, ветер только в ушах свистит, холод жуткий. Самое главное — не заснуть, иначе свалишься невзначай. Да ещё страшно, когда поезд идёт по мосту. Фермы у мостов низкие, и если не успеешь прижаться к крыше, то запросто сшибёт, пойдёшь рыбам на корм.

— Пап, а что вы ели?

— Что придётся и когда придётся. Все тогда голодные были, так что особо никто беспризорников не жаловал. Мальчишки воровали, а я так и не научился.

— Как воровали? Чужое?

— А как выжить? Мы сделали удочку — палку с верёвкой крепкой и к ней гвоздь, крючком согнутый, привязали. С крыши в открытое вагонное окно закидывали такой крюк, тряпку какую-нибудь с полки зацепляли и бежали по крышам подальше. На следующей станции меняли на хлеб. Я всем желающим угольком рисовал портреты, на чём угодно: на газетах, картонках, фанерках — за еду.

До Ростова добрались, а там облава. Всех пойманных беспризорных собрали в приют. Типа детского дома что-то. Постригли наголо, отмыли, переодели в чистую одежду, ботинки выдали. Накормили горячей похлёбкой, хлеба по куску дали. Всем койки выделили, постельное бельё, одеяла.

— Постригли-то наголо зачем?

— Так мы все были вшивые и лишайные. Как шелудивые коты. Иначе-то не вылечить. Кормили нас три раза в день, не досыта, конечно, но уже и не впроголодь. Занятия проводили учителя, воспитатели — как в закрытой школе. За территорию выходить запрещали. Боялись, видимо, что мы снова разбежимся.

— Ты долго там находился, пап?

— Долго. Почти до восемнадцати лет. Но и там тоже несладко жилось. Собрали детей разных, многое переживших, некоторые вообще с бандитскими замашками. Вот они свои законы устанавливали. Отбирали у младших и слабых еду, одежду, работать за себя заставляли. Могли ещё и тёмную устроить.

— Тёмную? Что это?

— Ночью жертве одеяло на голову набрасывали и дубасили всей шайкой. Забить могли до смерти.

— Пап, как же ты там выжил?

— Бог миловал, дочка. Я рисовал хорошо, поэтому меня директор опекал. Каморка была в административном корпусе, там я плакаты делал всякие, там и спать оставался.

— Пап, а потом? Что потом?

— Какая ж любопытная ты у меня! Зачем тебе всё это знать?

— Я всегда думала, что такие истории только в книжках бывают. А у тебя вон сколько всего в детстве произошло! После приюта что делал?

— Поехал в Москву своих искать. Уже с билетом, в вагоне. Обошёл знакомых, узнал, что Лидия в Саратове живёт, вот к ней и отправился. Она мне помогла очень — и поддержала, и в художественное училище помогла поступить.

— Пап, а в училище что было?

— Давай-ка, Уля, продолжим наш разговор завтра. Мы с тобой и так столько всего вспомнили. И супчик наш готов, и мама скоро придёт. Пойдём-ка лучше на речку посмотрим, не начался ли там ледоход?

Отец накинул на плечи свою потрёпанную телогрейку, я — пальтишко, и вместе мы вышли на берег.

Вода в речке почти заполнила всё русло, разлилась далеко в лес, подтопила наш высокий берег. Мутная клокочущая

масса широкими дорогами оттеняла серую, с тёмными промоинами, ленту льда, готового в любую минуту раскрошиться на огромные поля и маленькие льдинки, закружиться в беспощадном, безжалостном хороводе, сметая всё на своём пути. Грозная и вместе с тем величественная мощь ощущалась в этом разливе. Кажется, что даже земля подрагивала, вибрировала под ногами, не в силах сдержать напор стихии.

Я прижалась к отцу, он взял мою ладонь своими нервными, тонкими с крупными суставами пальцами, а сам неотрывно смотрел на лес, графично прорисованный на фоне бесконечно-синего неба. Его поседевшие волосы лёгким ветерком развевались над высоким лбом, там, где тяжёлая жизнь оставила широкие залысины-отметины, лизнув его своим шершавым языком.

ГОРЬКОЕ

На высоком левом берегу степной речки в зарослях терновника, словно выросший сам по себе на жирном чернозёме гриб-моховик, притулилась старая бревенчатая хата-мазанка. Уже много десятков лет щурилась она на восход солнца подслеповатыми окошками. Её растрёпанная ветрами соломенная крыша протекала под любым мало-мальским дождичком, и тогда звонкая капель в подставленные тазы и плошки сопровождала нас круглые сутки. В это ветхое жилище наша многочисленная семья переехала, когда мне было два года; и была здесь прожита целая вечность — всё моё детство.

Мне исполнилось тринадцать лет, когда мы переселились в новый колхозный щитовой дом, отец же остался в старой хате. Он наотрез отказался жить на многолюдной новой улице из свежепостроенных «спичечных коробков», или «балалаек», как папа называл эти дома. Там, на отшибе, на берегу речки ему привычнее и спокойнее.

В последнее время отец бывал угрюм и нелюдим, часто недоволен собой, нами, обстоятельствами, хутором. Так уж случилось, что, прожив здесь дюжину лет, он не смог принять хуторского уклада, да и сами хуторяне не поняли этого

молчаливого чужака, отца многочисленного семейства. Тем не менее односельчане часто обращались к Тимофеичу, как его здесь все называли, за советом. Он помогал всем — составлял письма, разные прошения и заявления, растолковывал новости, а иногда и рассказывал что-нибудь интересное из ранее прочитанного или им самим виденного. В местной библиотеке перечитал практически все книги, но особенно любимыми были Чехов, Бальзак и Золя.

Отец был талантливым художником, обладал острым и наблюдательным взглядом. Знал на слух множество симфонических произведений. Долгие годы по собственной методике преподавал в школе черчение и географию, владел информацией о любом уголке земного шара. И в это же время непостижимым образом ухитрялся не помнить добрую половину своих соседей. Односельчанок различал по цвету платка или юбки и, как человек совершенно непрактичный, выказывал полное равнодушие к обустройству быта.

Порой заливал свою хандру спиртным, по его собственному выражению — «заглядывал в горлышко». В такие дни отец бывал особенно сентиментален, срывался до настоящих горьких слёз по своему зарытому в землю таланту и засушенным кистям. Смолил одну за другой самокрутку — «козью ножку» и подолгу стоял на берегу, словно силясь что-то рассмотреть там, за поворотом неторопливой нашей реки.

Мама обычно оставалась с отцом, а мы с Сергеем приезжали в новый дом только на выходные и каникулы. Да вот ещё на практику приехали Таисия и её муж Иван. Рядом с почти двухметровым кудрявым красавцем мужем наша беременная, с большим округлым животиком, сестра казалась ещё более хрупкой.

Новый 1979 год мы встречали по-семейному весело. Приехали брат Дима с женой Аллой, мама с работы пришла чуть раньше, отец нарушил своё затворничество. Дружно налепили пельменей «с загадками на будущее», много шутили, отец в очередной раз планировал свои летние поездки в новые края. Он всё рвался куда-то, прокладывал маршруты, рассчитывал по толстым справочникам и потрёпанным брошюркам

стоимость и расписание движения транспорта. Лидия, его старшая сестра, как-то пошутила, что хорошо было бы сделать Евгению прививку от путешествий — такой уж он неисправимый мечтатель и романтик.

К утру разыгралась метель, намело сугробищи до крыши, засыпало напрочь дороги. Через пару дней отцу пришло письмо из Москвы от Игоря, моего единокровного брата. Он окончил журфак МГУ и публиковался в солидных изданиях. Отец очень гордился своим старшим сыном и во всём ставил его мне в пример. Меня же это просто бесило. Тоже мне, эталонный метр жизненных достижений. Я молча положила письмо на стол и ушла. Меня давила какая-то обида на отца.

Через день ветер стих, небо распахнулось бездонной синевой и ударили морозы. Солнце слепило миллиардами снежиночных отражений, снег под ногами не скрипел, скорее взвизгивал.

К ночи мороз ещё более усилился, звёзды крупными ёлочными гирляндами перемигивались в туманной дымке. Высоко в небо струился колоннами дым из печных труб. Всё притихло, затаилось, словно само безмолвие космоса опустилось на землю. Вся вселенная сжалась до одной маленькой точки — нашего хутора.

Стволы деревьев трескались, не выдерживая перепадов температуры, не вынесло такой нагрузки и сердце отца. Нитроглицерин, на котором он жил последние годы, оказался бессилен. В четверть третьего ночи папино сердце остановилось.

Ещё целый час мама билась за его жизнь как понимала и как могла... А потом, оставив лежащим на полу уже остывающее тело отца, она бежала к нам по ночному, занесённому снегом и окоченевшему от мороза спящему хутору. Что переживала она? Что творилось в её душе? О чём она думала?

— Вставайте, дети! Отец умер... Только ты, Тася, не переживай, тебе нельзя.

Мама на ходу включала в комнатах свет. Громко стучали по полу её резиновые сапоги, закостеневшие от сорокаградусного мороза, тоненький платочек сбился на затылок, а наспех наброшенная телогрейка даже не застёгнута...

Утром Иван и Серёжка на колхозном бортовом грузовике повезли тело отца в райцентр, в морг на вскрытие. Таковы правила.

Путь в двадцать с лишним километров Иван ехал рядом с телом отца в кузове — посадить двоих в кабину водитель не мог. Иван в кирзовых сапогах и телогрейке «на рыбьем меху», да и Серёжка одет был не лучше.

День 5 января выдался необыкновенно ясным, солнечным и невероятно морозным. Мы с Таисией отправились на почту, я старалась не оставлять её наедине с этой бедой. И полетели в разные концы страны срочные телеграммы с одинаковым текстом. «Умер отец тчк срочно приезжай».

А к ночи снова завьюжило. Утром, пытаясь хоть как-то спастись от горестных мыслей, я вызвалась съездить в райцентр. Нужно было купить там необходимые похоронные принадлежности. Пробежала по полупустым магазинам, доехала на попутке до станицы. И там ничего... Зашла к своей однокласснице.

— Наташ, мой папка умер...

Наташка от неожиданности всхлипнула, прикрыла кончиками пальцев свои пухлые губы и, как-то сжавшись в комочек, опустилась на пол.

— Что теперь делать будешь?

— Пока не знаю. Скорей всего, брошу школу. Маму одну не могу оставить. Мы же с ней теперь вдвоём. А сейчас мне в Киквидзе нужно. Я ещё не всё купила.

— Погоди, я с тобой.

Не раздумывая долго, Наташа натянула клетчатые расклешённые брючки, сунула ноги в тряпочные сапожки-бурочки, повязала голову платочком и накинула видавшее виды пальтишко. Нам повезло, и до соседнего райцентра мы быстро доехали в относительно тёплом рейсовом пазике.

Там, в магазине «Промтовары», фортуна улыбнулась нам ещё раз. Правда, из-под прилавка.

Пробежав глазами по моему списку, молоденькая рыжеволосая продавщица пожала плечами:

— И где мы вам это всё возьмём? Это заранее покупать нужно, готовиться.

И передала мой уже потрёпанный листочек напарнице постарше с контрабасоподобной фигурой и пышным шиньонным домиком на голове.

— Так они ж девчонки совсем, где ж им к такому готовиться-то? Им ещё в куклы играть, а тут... Ххосподи, горе-то какое! Сейчас, подождите.

И скрылась в дверях подсобки. Минут через десять она вышла оттуда с тугим свёртком, обёрнутым серо-коричневой бумагой, пощёлкала костяшками счётов, назвала сумму.

— Тут всё по списку. А теперь бегите домой, вон — темнеет уже.

На улице и впрямь смеркалось. И время было по-зимнему позднее, и метель закрутила свою круговерть с новой силой.

Транспорта никакого — ни автобуса, ни попутки. Наташе до станицы тридцать два километра, мне же до хутора чуть поближе — двадцать. Дорога прямой стрелой пронзала ровную, укрытую белоснежным саваном степь. Ни одного хутора рядом, ни одного огонёчка в окошках, ни одной живой души на много километров вокруг. Только я и Наташа.

Заледеневшие деревья хрустели голыми ветками в редких лесопосадках по окраинам полей. Позёмка прожорливой змеёй заглатывала наши следы на заметённом асфальте. Снег, словно липкая паутина, окутал всё вокруг, и за этой пеленой чудились неясные тени.

Пытаясь согреться, бежали наперегонки, дыхание сбивалось через несколько шагов. Хотелось спрятаться от вымораживающего ветра в нечастых автобусных остановках — хоть чуточку передохнуть и отдышаться. И тогда страх навсегда остаться в этих грязных обледеневших кирпичных закутках с ещё большей силой гнал нас вперёд. Тонкой ниточкой пульсировала мысль: «Дойти. Домой. К маме».

Уже в полной темноте мы прошли больше семнадцати километров, когда за пеленой метели мелькнули фары и остановился единственный за всё время попутный грузовик.

— Вы это куда, красавицы? Я ж вас час назад чуть не раздавил, вы мне навстречу попались! Так и идёте?

— Дядечка, нам домой нужно! Мне до хутора, а подружке до станицы. Довезёте?

Кто был он, тот наш спаситель? Ехал ли он попутно или же специально развернулся, чтобы довезти двух замерзающих и совсем выбившихся из сил девчонок? Теперь уже и не узнаешь... Наташу он довёз до станицы, прямо до дома, а я покинула такую уютную, пропахшую бензиновым теплом горячего двигателя кабину чуть раньше, на повороте к хутору, и уже одна добиралась с грейдера, по колено утопая в снегу. Села на крылечке, сил зайти в дом не было. Там меня и нашла мама.

К ночи собралась вся семья. Ира приехала одна, Люся — с мужем и годовалой дочкой. И маленькая Наташа, словно ангел, скрасила своим присутствием тот печальный вечер.

Мама, сосредоточенная и внешне спокойная, привычно организовывала все домашние дела, и только выражение её глаз выдавало тот душевный труд, с каким ей это спокойствие давалось.

Дмитрий чистил от снега дорожки, время от времени задумчиво останавливался и покачивал головой, отгоняя от себя дурные мысли.

Валя с Таисией на кухне готовили поминальный обед и вполголоса говорили о чём-то. Им помогала Алла. Серёжка приносил из колодца воду, топил печку.

Никто не заметил, как приехала Лариса — она тенью проскользнула в комнату и тихонько плакала, сидя у гроба отца.

Игорь сильно болел в эти дни и приехать на похороны не мог, он прислал нам телеграмму.

Хоронили папу в Рождество. Метель была чудовищная. С утра бульдозер прочистил дорогу до кладбища, прорыв туннель в рост человека, а к обеду его уже занесло до половины. Ветер крутил снег со всех сторон, и казалось, что Землю окунули в снежную кашу.

Проститься с отцом пришли многие. Люди заходили в дом молча, смахивали с одежды налипший снег, хлюпали с мороза носами и, как будто бы виновато потоптавшись у гроба, выходили на веранду. Только две чужие тётки, пристроившись в уголочке на табуретках, дежурно подвывали в плаче и о чём-то перешёптывались, стреляя

по сторонам сухими глазами, как шпионы в стане противника.

До меня, оглушённой, раздавленной внезапно нахлынувшей и осознанной потерей, долетел обрывок их разговора. Сплетничали о нас: о маме, об отце и не приехавшем Игоре. Взяла за рукав одну из них и выпроводила прочь. Никто из родных не остановил меня. Или все со мной были согласны?

Права ли я была в тот момент? Не знаю. Но там, у гроба лучшего в мире человека, я не могла позволить кому бы то ни было смешивать с грязью добрые имена мамы, отца и всей нашей семьи.

К погосту наша похоронная процессия пробиралась медленно, гроб установили на пароконке. Лошади вязли в глубоком снегу, мужчины подталкивали телегу сзади. Невольно всплывали в памяти картины Перова...

А ночью пошёл дождь.

И потекли ручьи из оседающих сугробов, будто сама природа оплакивала неугомонного путешественника, навсегда ушедшего в волшебную обетованную землю, о которой он так часто мечтал и в существование которой верил, и моё, замёрзшее в эти дни, детство...

ФАНТИК

— А пойдём-ка, дочка, чего-нибудь пожуём.

— Что бы ты хотела, мам? — зажигаю конфорку под чайником и достаю из холодильника продукты.

Сажусь напротив мамы, в руках у меня видеокамера. Верчу её, будто что-то настраиваю в ней.

— Опять со своей вертушкой? — мама смотрит на меня иронично.

— Да вот хочу лишнее стереть, — вру я, а сама аккуратно ловлю в объектив мамино лицо, незаметно нажимаю на кнопку «пуск» и, как бы между прочим, начинаю задавать вопросы.

Только спустя много лет мне пришло осознание, что из нас восьмерых маминых детей я — младшая — и была у неё самой любимой. Чаще всех она приезжала ко мне, гостила подолгу, по-хозяйски. День-два присматривалась к нашему укладу жизни, а потом брала «бразды правления» в свои руки. Вязала внукам носки, устанавливала на кухне свои порядки. Непременно заквашивала капусту, нашинкованную тоненькими нитями, и потом готовила с ней большую кастрюлю наваристых щей с густой ароматной зажаркой. Пекла горы пирожков — пушистых, с румяной хрустящей корочкой. Нами до сих пор не разгадан рецепт её идеальных гренок. Дом наполнялся присутствием бабушки. Дети ждали её приезда, хотя порой она бывала с ними очень строга.

Мы пьём чай. Мама, сама того не замечая, привычно шуршит фантиком от конфеты, то сворачивая его, то снова разглаживая на столе. Солнечный луч скользит по стене, золотит мамины поседевшие волосы. В клетке соловьиными трелями заливается оранжевогрудая канарейка. Разговор заходит о делах сегодняшних, а я неспешно подвожу к воспоминаниям о её детстве, о её жизни «до меня».

— Ой, дочка, знаешь, как раньше было... Мне всё больше хорошие люди встречались. — Мама улыбается и легко вспоминает имена и фамилии своих соседей по очень давнему прошлому. — Что я видела в детстве? Вот, помню, идём мы в школу. А у нас в Удмуртии знаешь какие зимы? Темно ещё, мороз, и через лес идти надо далеко, километров пять. Нас мужики водили, с факелом. Чтоб волки не напали. Одни мы не ходили. Страшно. Девчонку-то одну так и растерзали звери.

А одёжка какая была? И обуть нечего. В лаптях ходили. Тут война началась. Нас, кто постарше, сразу собрали и отправили в лес, железную дорогу строить. Мы, девчонки, насыпь делали, землю в тачках возили. А парни деревянными пеньками с прибитыми ручками её утрамбовывали.

— А где вы жили и что ели тогда?

— Да там же, в лесу, и жили. Навесы из жердей и веток еловых устраивали, на лапнике и спали. Костры жгли ночью — и тепло от огня, и волки не подходят. А еда?

Нам каждому давали на день по ложке муки тёмной ржаной и столько же масла — комбижир называется. Вот из этого варили какую-то баланду. Да разве ж это еда для молодого человека? Свиньи и те отвернутся.

Грибами белыми усыпано было в лесу в тот год. Вот их мы и варили, и жарили, и парили. А ещё на палочку наколешь — и в костёр, вкусно. Только я на них теперь и смотреть не хочу, наелась на всю жизнь. Даже запах терпеть не могу. Ребята на зайцев силки ставили, а я мясо не ела совсем. Зайчатину как можно есть?

— А дальше как? И зимой в лесу были?

— Да нет, осенью уже поезда по нашей дороге пошли. Эшелоны везли эвакуированные заводы на Урал. И нас забрали на Ижевский завод в ФЗО* — учили на станках снаряды точить. В цеху холодно, крыши ещё нет, дожди льют, лужи кругом. Мы на ящиках стояли, болванки обтачивали. А я так боялась этих станков! В марте я заболела совсем, уши застудила, фурункулы начались. Нас с подружкой, Капитолиной, отпустили домой на две недели. Мы и пошли к себе в деревню. А далеко идти, километров сто пятьдесят. Неделю шли. Транспорт? Да какой транспорт, леса вокруг, хорошо, что деревни попадались. Там и ночевали, попросимся в избу к кому-нибудь. Пускали люди, к печке стелили поближе.

— Мам, а сколько тебе лет тогда было?

— Да уж большая была. Осенью четырнадцать исполнилось. И Капа была одногодка со мной.

— А что ж вы ели?

— Нам на заводе по буханке хлеба дали. Вот его и щипали по крошечке. Домой тоже что-то нужно было принести. В избах, где ночевали, хозяева нам какой-нибудь похлёбки давали горяченькой, да чай, на траве заваренный. А речки уже растаяли, весна ранняя была. Как перейти? Разденемся догола, одежонку в узелок скрутим и вброд. А потом так и бежим голышом, чтоб обсохнуть да согреться.

Домой пришли, а там голод. Всё на фронт забрали — и зерно, и картошку, и скотину порезали. Мама болеет, ослепла.

* ФЗО – фабрично-заводское обучение.

Отец худющий, язва желудка его совсем одолела. Брат мой, Виктор, он горбатый был с детства, в колхозе работал. Его на фронт не взяли, хоть он и просился. Я полбуханки хлеба принесла, отдала родителям. Отец мне отвары из разных трав делал. Он все растения лечебные знал. К нему люди отовсюду шли, денег не брал за помощь, так лечил: все были бедные тогда. Травы-то в лесу много всякой полезной, только не все люди её знают.

Возвращаться нужно было на завод. Что эти полмесяца отпуска? Неделю шли домой, семь дней обратно. Переночевала, да и собирайся назад. У меня старший брат Яков на фронте был, а жена его, тётя Соня, с детишками здесь, в деревне, оставалась. Детей четверо, голодные, худые. А тут вербовщики приехали, на Камчатку людей агитировали. Там и с едой лучше вроде, и работа будет, и жильё обещали. Тётя Соня с детьми собралась, я с ней. Так и уехала на Камчатку.

— Мам, а как же завод?

— Не вернулась туда, и всё. И Капитолина тоже осталась. Только с нами она не поехала, и её арестовали за дезертирство. Сослали на север куда-то. Там она и пропала.

— А как же ты?

Мама замолкает, взгляд её уходит вдаль, будто что-то рассматривая там, в своём многострадальном прошлом. И только яркий конфетный фантик шуршит в её натруженных руках...

— Мы долго ехали. Нас в теплушках* много было — одни женщины и дети. На нарах соломы настелено, сухо, хорошо. Ехали, песни пели. Тепло в вагоне, печки топили. Я за дорогу выспалась. Фурункулы свои вылечила. Кормили даже, кашу давали, суп с тушёнкой. Привезли нас на Камчатку — и в лес. Там сначала мы для себя бараки строили, а потом уже лес валили.

Рыбы было много, все с голодухи да в диковинку набросились на неё. А она морская, жирная. Ох, как болели животы у людей потом...

* Теплушка – товарный вагон, переоборудованный под перевозку людей или лошадей.

Древесину в Америку отправляли пароходами. Меня на лесозаготовки не посылали, я печки топила в бараках. Дрова, воду приносила, чайники чтоб всегда кипели. Ночью одежду сушила всем. Один раз уснула, печки прогорели, всё остыло. Вернулись с работы, в бараках холодно. Сами всё растопили, а меня накрыли одеялом. «Отдохни, Мила», — говорят. Думала, ругать будут, накажут. При мне не матерились, жалели меня, наверное.

А комаров было — тьма. Сжирали нас прямо.

Мама помолчала, повертела в руках чайную ложечку, задумчиво переставила на столе вазочку с конфетами и продолжила свой рассказ.

— В сорок третьем меня директор школы в няньки к себе забрал. У них ребятишек много было, все маленькие. Жена учительницей тоже работала. Знаешь, такие хорошие люди они. Жена меня и шить научила, и готовить. Я у них больше года жила. Сейчас бы на детей посмотреть. Какие они выросли?

Солнечный лучик переполз к ней на лицо, и оно вспыхнуло молодым румянцем.

— А дальше что было?

— А в сорок четвёртом я отпросилась из нянек и на корабль служить пошла. Поваром. Матросов кормила. Мне уже почти семнадцать было. Готовить хорошо умела. На корабле еда вольная была, рыбы всякой... Я поправилась немного.

— Корабль большой был? Далеко плавал?

— Не, пароход небольшой был, он только вокруг Камчатки ходил. Грузы возил всякие, людей. Штормить когда начинало, страшно было: всё падает, голова кружится, мокрые все.

А как до Победы дожили, я летом и списалась на берег. Получила расчёт, на базаре купила себе коричневый фибровый*, с блестящими замочками, чемодан, платье в горошек крепдешиновое** и беретку белую, а ещё туфельки

* Фибра – плотный прессованный картон.

** Крепдешин (фр. Crepe de Chine – китайский креп) – вид шёлковой креповой ткани.

чёрные кожаные с ремешками и носочки. Я красивая была, косы до пояса.

Пришла в милицию, нужно паспорт же оформить. Отправили меня к начальнику. А он в большом кабинете, бывший военный. Седой весь, награды на кителе. И руки одной нет, правой. Всё какие-то бумаги долго читал, потом посмотрел на меня... Внимательно так, молча.

У меня аж мурашки побежали. Стою, ноги ватные, комок в горле, дыхнуть нечем... А он помолчал-помолчал и говорит: «Так вот ты где, Людмила? А мы тебя по всей стране разыскиваем...» — вздохнул как-то тяжело и стал что-то писать в этих бумагах. Долго, левой-то рукой не так ловко получается. «Всё, — думаю, — снимай, Мила, свои туфельки кожаные и носочки белые, надевай сапоги кирзовые и телогрейку арестантскую!» Дописал начальник, поднял на меня лицо, строго так смотрит: «Держи, — говорит, — свой паспорт и больше на глаза мне не попадайся!» И вдруг улыбнулся.

...Жужжит потихоньку видеокамера, извлекая годы маминой жизни из гигабайтов электронной памяти. Всё изменилось. Уже не обнимешь родные плечи, не вдохнёшь самый любимый запах, не почувствуешь тепло её рук. Только пластмассовая «вертушка» воспроизводит мамин спокойный, почти бесстрастный голос, её лицо и глаза, отрешённо смотрящие куда-то вдаль, в глубины своей заполненной трудами и лишениями судьбы. И лежащий на столе аккуратный квадратик блестящего конфетного фантика.

СТРОЧКА

Убаюкивающе стучат колёса, в такт им позвякивает ложечка в стакане с латунным подстаканником, неспешно льётся разговор. Кроме меня в купе ещё двое мужчин, они возвращаются из командировки. Я устраиваюсь в уголочке, молча внемлю их беседе, мыслями опережая движение скорого поезда.

В череде многих путешествий последних пяти лет это внеплановое, особенное. Я снова еду к маме, и сегодня все

мысли о ней. На коленях у меня рукоделие, острая иголка легко скользит в тонкой ткани. Червь сомнения поселился в моей душе, гложет и сверлит — права ли я, верны ли мои действия? Может, ещё не пришло время? Память же — удивительная штука — тут же достаёт из глубин сознания картинку.

Начало июня. Ты, мама, склонившись над столом, аккуратными стежками шьёшь распашонку — для ребёнка, который родится через несколько дней. Этот малыш — я, восьмое дитя в нашей семье. Твои проворные руки не знают усталости, и к моему рождению уже будет готово всё необходимое. Конечно же, я не могла это видеть, но с самых первых мгновений я всегда чувствовала твою любовь и заботу. Поэтому больше не рассуждаю, а коротаю время в пути за шитьём.

В свете пристанционных фонарей поблескивает в моих пальцах иголка, ровной дорожкой стелется шов. Память высвечивает всё новые и новые картинки из детства.

Я ещё совсем маленькая. Все свои печали и огорчения я легко излечиваю, взобравшись к тебе, мама, на колени. Опускаю ладошку за пазуху и, словно напрямую из души, черпаю тепло твоей бесконечной любви.

Стежок, ещё стежок. Мне лет шесть, и я снова болею. Ты, мама, сильными и горячими руками массируешь мои воспалённые коленки, прикладываешь тёплые компрессы из отваров трав, постепенно боль успокаивается, и я засыпаю.

Новый стежок — и очередной эпизод из далёкого детства. Мне семь лет, и мы едем с тобой, мама, в гости к бабушке. Это целое путешествие. Сначала на поезде до Волгограда, потом на другом до Саратова, там пару дней гостим у папиной сестры, и далее — на настоящем теплоходе несколько дней по Волге. Медленно движется огромное судно, меняется пейзаж по берегам, остаются позади большие города и маленькие посёлки. Мы стоим с тобой у борта, внизу плещется мутно-зелёная волжская вода, в руках у меня бумажный

фунтик с карамельками-подушечками, и ты рассказываешь мне о своём несладком довоенно-военном детстве.

Ещё стежок, ещё картинка. Ты стоишь на коленях у проруби, полощешь бельё. Твои пальцы покраснели, но движения рук быстрые, а на лице отрешённое спокойствие. Позднее в доме появится настоящее чудо — стиральная машина с центрифугой, подарок Ларисы, и стирка станет намного проще и комфортней.

И снова стежок. Быстро мелькают в твоих пальцах вязальные спицы, и вот за пару дней готовы для меня особенные варежки с высокими, почти до локтей, манжетами — теперь снег не попадает мне в рукава. До сих пор чувствую это тепло на запястьях...

Новая картинка. Вдруг перестал работать ламповый радиоприёмник-магнитола. Отец повздыхал — нужно везти в райцентр в ремонт. Не раздумывая, ты, мама, сняла заднюю крышку и карандашом начала «шурудить» в его внутренностях. И чудо произошло, приёмник ожил. Вот тогда тебе и было присвоено звание «Келдыш»*, а все процессы починки чего бы то ни было в нашей семье теперь так и называются — «келдышить».

Иголка быстро двигается в моих пальцах, а мысли улетают далеко-далеко...

Мама, ты, ещё молодая и стройная, легко движешься по тропинке, я едва успеваю за тобой. Мы едем покупать мне «приданое» к школе. И вот первого сентября я гордо шагаю в сопровождении всей семьи в первый класс: нарядная, с большим белым бантом, в белом передничке на форменном платье цвета горького шоколада, несу пахнущий морозной горчинкой букет разноцветных астр и самый красивый белый портфель, выбранный, мама, тобой.

* Мстислав Всеволодович Келдыш – советский учёный в области прикладной математики и механики, крупный организатор советской науки, один из идеологов советской космической программы.

Ещё стежок, ещё одна история. Раннее утро, к нам в дом стучится молоденькая женщина — цыганка, на руках у неё крохотная, месяцев двух, дочка и тяжёлая сумка. Девушка предлагает нам купить у неё какие-то вещи, при этом каждое движение ей даётся с большим трудом. Объясняет, что муж бьёт и заставляет зарабатывать деньги. Ни секунды не раздумывая, ты, мама, предлагаешь ей оставить на время малышку у нас и налегке пройти по соседям. Цыганка с сумкой ушла, девочка осталась у нас. «Ничего, — сказала ты мне, — если она вдруг не вернётся за малышкой, мы её воспитаем, как свою родную». Через час девушка вернулась — взволнованная, счастливая и с пустой сумкой. Так у нас появилась подруга-цыганка.

Игла делает ещё несколько стежков. Ты неожиданно овдовела в пятьдесят два года. Мы с тобой остались вдвоём, старшие дети к этому времени уже разъехались. Я видела, насколько тяжело ты переживала папину смерть, как сложно тебе было в эти годы. А через пару лет наступит мой черёд «улетать из гнезда», а ты, мама, останешься совсем одна...

Я оканчиваю десятый класс, сдаю первый выпускной экзамен. Ты провожаешь меня в школу, и так взволнованно блестят твои глаза — только б у меня всё было хорошо. И ещё эпизод. Мы выбираем для меня наряд на выпускной вечер. Шёлковое платье нежно-розового цвета великолепно, но меня смущает его высокая цена. И сегодня я слышу твои слова: «Были бы мы, а деньги заработаем. У меня никогда такого красивого платья не было — пусть будет у тебя»...

Ещё стежок. Ты провожаешь меня в Москву, в академию. Собран немудрёный чемодан: пара-тройка платьев, стопка учебников и деньги — все, что у тебя на тот момент были, до копеечки. И снова твоё напутствие: «Учись, дочка, мне война не дала».

Я — студентка. И, как бы ни была великолепна жизнь в столице, при любом удобном случае душа рвётся домой. На ноябрьские праздники я приехала к тебе, на день твоего рождения. Ты, смущаясь и долго подбирая слова, рассказываешь, что к тебе сватается дядя Иван. Он тоже овдовел, дети — наши ровесники — также разъехались по городам и весям. «Как ты думаешь, дочка?» И с высоты своей юношеской кочки я, семнадцатилетняя пигалица, не задумываясь, задала тебе, мама, встречный вопрос: «Тебе — в твоём возрасте — замуж»? «Да, пожалуй, ты права», — ответила ты и никогда больше к этому разговору не возвращалась.

Тянется длинная белая нитка, ровной дорожкой ложится строчка по белой ткани.

Ты у нас в гостях и особо никуда не торопишься. Вдруг в одночасье настойчиво: «Купите билет, нужно ехать домой». Уговоры бессильны, делать нечего — покупаем билет, провожаем на поезд. В купе уже разместился попутчик — афроамериканец, ни бельмеса не понимающий по-русски. У тебя смятение: «Я с этим чудом никуда не поеду». Радуюсь: «Давай сдадим билет и вернёмся домой». «Нет, — решаешь ты, — еду!» Провожаем, волнуемся, как доедешь? Через неделю получаем от тебя письмо, пишешь, что доехала отлично, с парнем познакомились, подружились, обменялись адресами и он ждёт тебя в гости в Колорадо.

Ещё стежок. Неожиданно удачно сложились обстоятельства, и мы на машине всей семьёй отправляемся к тебе. Выезжаем в ночь, инкогнито, готовим сюрприз. Дорога дальняя, часов в девять утра потихоньку подруливаем к дому. Ты нас встречаешь на крыльце: «А я во сне видела, что вы приедете». Кипят на плите ароматные щи, высится на столе горка пушистых, с пылу с жару, самых вкусных на свете, порожков.

Стучат колёса, поезд делает нечастые короткие остановки, а иголка — новые стежки. А в моей памяти всплывают всё новые и новые эпизоды. Куча мала внуков у тебя на летних каникулах, разношёрстная и разновозрастная, с дружбой

и детской враждой, с любовью и обидами, с нежностью и капризами. И в этой ватаге не только свои, родные по крови внуки, но и дети наших друзей, не имеющих бабушек. Твоей деятельной любви хватает на всех...

Однажды ты спросила, что подарить мне на день рождения. Вы с папой уже сделали мне самый важный подарок — мою жизнь, в полной семье, в окружении братьев и сестёр.

Не спится. Ближе к утру моя станция, пустынный перрон, одинокое такси. В кромешной темноте с фонариком в руке меня встречает Валя.

— Как мама?

— Спит...

Я наклоняюсь над тобой, целую уставшее от болезни лицо, глажу руки, просвечивающие, словно пергамент, сеткой сосудов. «Мамочка, я приехала, ты узнала меня?» — и твои пальцы нежно сжали мои. Я проведу этот день рядом с тобой, буду рассказывать тебе обо всём, вглядываясь в твоё лицо. И вспоминать, вспоминать, вспоминать... А руки автоматически будут прокладывать всё новые и новые стежки.

Ты очень редко хвалила нас, гораздо чаще приводила в пример достижения других. Высока была планка, которой ты измеряла наши успехи. Наверное, ждала от нас бóльшего, и наши техникумы-институты-академии, руководящие должности, высокие посты казались тебе совсем несерьёзными. Ты часто бывала резка в суждениях, обыкновенно мудра, рачительна, деятельна. Нам казалось, что ты всегда будешь такой, что ты — вечная. Как воздух, как вода, как сама жизнь.

Ах, как же мы ошибались. Не уберегли мы тебя, не предусмотрели беды, и ты заболела. Серьёзно, надолго. Но какой благословенной оказалась для наших душ твоя, мама, немочь. Как вернула и собрала она нас под родную крышу, как сплотила и как сдружила до сего момента наш большой, но разрозненный клан. Даже в слабости своей

ты проявила удивительную силу и мудрость. Вот уж поистине — не было бы счастья, когда б несчастье не подсобило. Всевышний дал нам целых пять лет на излечение собственных душ.

Помню, как вдохновило тебя наше решение строить дом на старом поместье у речки. Как разгладились морщинки, посветлело и помолодело твоё лицо и вернулось желание жить. Порой сомневалась, иногда откровенно не верила, пока не увидела залитый фундамент и завезённые стройматериалы. Как радовалась ты каждому дню в новом доме, выходила гулять, инспектировала огород. И как коротка была эта радость...

Восемь месяцев, как ты совсем слегла. Восемь месяцев обратного отсчёта. Время неумолимо, у каждого из нас есть свой срок. Нам остаётся только смириться и отпустить тебя. Ты уходишь днём под читаемую мной на исход души молитву, в последний момент вдруг широко раскрываешь глаза и ясно смотришь на меня, оглядываешь пространство твоей нежно-розовой светёлки, будто хочешь запомнить и проститься...

Я дошиваю для тебя твой последний земной наряд.

В последний раз ты встречаешь нас, собравшихся со всех концов страны своих поседевших детей, взрослых внуков и возмужавших правнуков. Ты лежишь в белом облаке савана — вдруг постройневшая, и лицо твоё строго и умиротворённо...

— И жила она, аки птица: они не сеют, не жнут, не собирают в житницы, а Отец ваш Небесный кормит их, — звучат над тобой прощальные слова священника.

На двенадцатый день ты придёшь ко мне, чтобы утешить и сказать: «Не плачь обо мне. Посмотри, какая я теперь стала!» — и Белой Голубкой растворишься прозрачным облачком в безбрежной синеве неба...

ТИНЬКА

— Вот и весну дождались... ишь, как мелочь птичья растинькалась да расчирикалась! И солнце уже припекает, хорошо-то как! Будем жить! — Надежда подошла к остановке, поставила на скамейку тяжёлую, полную продуктов сумку, привычно подняла взгляд на тёмные стены своей хрущёвки, отыскивая в окне родной силуэт, и снова горячей волной охватила её тоска.

Нет, никто её больше не ждёт в этой опустевшей квартире, никто больше не расскажет ей последние новости и не согреет к её возвращению чайник. Мама умерла неожиданно, тихо, не жалуясь и особенно не болея. Однажды декабрьским вечером вернувшаяся домой с работы Надежда увидела, что окна квартиры темны.

— Не идут туда ноги, а идти им больше некуда. Бери, Наденька, торбу, отработала ты свою неделю, отдохни следующую.

В этот момент её взгляд выхватил в ближайшей от скамейки снежной выемке маленький шевелящийся комочек, больше похожий на смятую мокрую салфетку. Присмотревшись внимательнее, женщина увидела, что это котёнок — крохотный, облепленный примёрзшими к шёрстке льдинками — он только судорожно открывал розовый белозубый ротик.

— Боже ж ты мой, кто ж тебя сюда выбросил? Ох, несчастная судьба твоя, как же это угораздило так?

Не раздумывая, Надежда сняла шарф, завернула в него найдёныша, после чего, торопясь и оступаясь на ледяных колдобинах нечищеного тротуара, поспешила домой. Выкупанный в тёплой воде с ароматным женским шампунем котёнок был высушен феном, из пипетки терпеливо напоен тёплым молоком и, чтобы не пищал и успокоился, — уложен в мягкую глубокую выемку на груди у его новой мамки. Ложбинка пахла кофе, сладким молоком, карамелью и булочками с корицей. За неделю, что выдалась у Надежды нерабочей, малыш получил имя Тинька, окреп, подрос и открыл глазки. И началась у них новая жизнь.

Месяц спустя пушистая бестия неугомонным домовёнком вовсю носилась по маленькой двухкомнатной квартире и, как в джунглях, пряталась в чаще цветов, горшками с которыми были заставлены все поверхности. Природа пошутила над ним: крупная головка серебристо-пепельного цвета с чёрными ушками окаймлялась щеками и подбородком более тёмного оттенка, что выдавало в нём принадлежность к царской сиамской расе, а туловище — будто по недоразумению — досталось ему от обычного полосатого дворового кота.

Самыми удивительными были его глаза — бирюзово-зелёный левый, правый же светил небесно-синим фонариком. Он ни на минуту не оставлял свою хозяйку, любопытно следил за каждым её движением, а она хвалила его за чистоплотность и звонко смеялась, когда он катал по дому высыпанную из корзины картошку. От потрясений первых дней жизни остался в памяти у Тиньки неистребимый страх перед улицей и потерянная способность мяукать.

Долгие вечера коротали они под мерное воркование сериалов. И спали вместе. В большой комнате на удобной кровати устраивалась сама хозяйка, на груди у неё комфортно располагался котёнок.

Иногда ночью там, в глубине, под ложбинкой, вдруг начинал попискивать маленький неведомый зверёк, затем его голос становился всё громче, напористей, резче. Тогда Надежда дрожащими руками палкой от швабры толкала форточку — и клубы морозного воздуха наполняли всё пространство комнаты, вздымая к потолку белую тюлевую занавеску; выискивала под подушкой маленький баллончик, выпускала себе в рот облачко неприятно пахнущего лекарства, после чего Тинька ещё долго чихал и тёр лапками слезящиеся глаза.

В такие ночи Надежда сидела, высоко откинувшись на подушках, глаза со зрачками-омутами бессмысленно шарили по зелёно-медвежьему ковру на стене, а в груди ревели и клокотали неведомые бури. Кот всем своим мягким пушистым телом растекался по её необъятной и страдающей груди, клал черноухую голову на плечо, лапками обнимая хозяйку за шею, и замурлыкивал эти страшные звуки. Утром, надсадно кашляя и постанывая, Надежда собиралась и ещё затемно

тяжёлым шаркающим шагом уходила на работу в маленькое кафе на другом конце города.

Тинька оставался ждать. Его любимым местом в этом уютном доме был подоконник, с высоты которого он наблюдал за своей кошачьей вселенной. Вот стайка синичек на склонившейся под тяжестью снега берёзе — по их встревоженному «тинь-тинь» он получил своё замечательное звонкое имя, — вот ярко-пёстрым шевелящимся и посвистывающим облаком накрыло рябины, увешанные гроздьями рубиновых ягод: это стая свиристелей вернулась в свою законную столовую. Вороны, чувствуя себя верховными правителями, хрипло призывают к порядку расшумевшуюся молодёжь, и свиристели подрываются шуршащей рекой, перелетая на кусты сирени. Внизу хорошо просматривается змеёй уходящий вдоль оживлённого шоссе тротуар, по которому медленно, будто наощупь, уходит до позднего вечера Надежда.

Грустными были для Тиньки рабочие недели хозяйки. Вечером она грузно переступала порог дома, тяжёлое свистящее дыхание сопровождало каждое её движение. Долго плескалась в душе — выходила оттуда в большой светлой рубахе с верёвочками у шеи, с капельками воды в мокрых мелких кудряшках шестимесячной завивки, расшлёпанных тапочках на покрытых густыми реками вен отёкших ногах. Наскоро ужинали вдвоём: она хлебала приготовленные на всю неделю густые наваристые щи из холодильника, а Тинька вкусно хрустел шариками коробочного корма. Включался графитовый ящик, начиналось мельтешение ярких огней на экране телевизора, и кот устраивался на своём законном месте — на мягкой груди или в ногах, согревая и массируя уставшие ступни хозяйки.

Менялись за окном картины; красавицы и города настенных календарей; менялись президенты и вектор движения всего государства, но в этом доме всё оставалось неизменным, только походка его жильцов становилась более тяжёлой и неповоротливой.

Однажды вечером Надежда вернулась с работы позже обычного — возбуждённая и какая-то суетливо-взволнованная. Принесла большой букет дурманом обволакивающих лилий и перевязанную ярким шуршащим бантом картонную коробку с подаренными настенными часами.

— Всё, Тинька, отработала своё, отпахала. Не нужна я им больше в «Белочке», без меня обойдутся. Автомат теперь будет кофе варить, вот как. А железяка эта умеет доброе слово клиенту сказать, поговорить, утешить? Двадцать лет моей жизни прошло там, я своих посетителей не то что в лицо — по именам знаю... а теперь списали меня... Вот какая жизнь у нас с тобой, кисонька моя! Пенсионеры мы теперь.

Веселее стало Тиньке. Надежда целыми днями дома топталась потихоньку, высадила в ящики разноцветные петунии и анютины глазки, разгребла на балконе завалы из старых тумбочек и кастрюль, расстелила дорожку и поставила два стула — себе и коту. Раз в неделю отправлялась «в экспедицию», приносила продукты — себе и коту — и задорно гремящие коробочки с таблетками — себе лекарства, коту — витамины. Махнув рукой, пошуршала разноцветными бумажками, и через пару дней вместо громоздкого дребезжащего ящика появился на стене новенький плоский телевизор. На смену сериалам пришло новое увлечение, и оно целиком поглотило всё внимание Надежды. Изгнание старых участников и появление в проекте новых, интриги, склоки, страсти — женщина словно переселилась в другое измерение, обретя некое подобие семьи — искренне радовалась, горевала, сочувствовала, порой хлёстко комментировала происходящее и давала мудрые, на её взгляд, советы. Она не пропускала ни одного репортажа с лобного места, наперёд зная исход словесных и физических баталий.

— Эх, Тинька, мне б лет поменьше, да такое же красное платье! И на «Шейшелы»! — смешно пришепётывала Надежда незнакомое слово. — Я б и тебя взяла.

Изредка из кухонного шкафчика, пропахшего лавровым листом, гвоздикой и корвалолом, доставала она заветный графинчик, наливала себе стопочку «для здоровья», вкусно захрустывала прозрачным маринованным огурчиком и янтарной квашеной капустой собственной засолки и неспешно продолжала свои ежедневные домашние дела.

Заглядывала к ним востроносая и громкая соседка Тамара, приносила баночку осклизлых маслят с белёсыми зубчиками чеснока, и тогда уже «под графинчик» начинались у них долгие разговоры, вспыхивало имя Мишки, который почти десять лет голову Надежде дурил, а человек он был вообще никчёмный и жадный.

После таких посиделок Надежда сутки лежала под открытой форточкой, пила только воду и ругала на чём свет стоит всех: Тамару, Мишку, производителей алкоголя — и свою одинокую жизнь... Отрадой в такие мгновения приходил Тинька. Сначала разноцветными фонариками глаз он тревожно смотрел на страдания своей хозяйки, потом густой тёплой шапкой оборачивался вокруг всклокоченных кудряшек, и тогда её боль перетекала в него, сжимая обручами и захлёстывая всё внутри, но он терпеливо ждал, когда этот безмерно любимый им человек успокоится и заснёт.

Всё чаще и чаще по ночам стал пробуждаться неведомый зверь, заставляя бессонно встречать мглистые рассветы. Уже не закрывалась в комнате форточка; сквозняки игриво раздували кружевные паруса из занавесок. Тинька, потерявший с годами былую стать и пушистую свою шерсть, стал больше похож на гиену — тощее полосато-камышовое тело заканчивалось вечно дрожащим хвостом с нелепой кисточкой, а голова, от природы крупная и породистая, теперь казалась здесь чужеродной. Цвет глаз потускнел, выровнялся и приобрёл водянисто-болотистый оттенок. Чаще всего кот лежал на тумбочке возле тёплой батареи или на мягкой овчинке, заботливо постеленной на его «наблюдательском» подоконнике. Любимые хрустящие шарики стали ему не по зубам, а сегодня он вообще отказался от еды. Медленно, захлёбываясь, пил одну воду.

— Юбилей у нас с тобой завтра: двадцать лет, как вместе живём. Чем же мне тебя порадовать, старичок ты мой? — сокрушалась Надежда. — Пойду в магазин, может, что вкусненькое для тебя найду. Да и в аптеку нужно, давно не ходила. Я скоро, ты меня жди.

Привычно нащупав в кармане пальто холодный цилиндрик ингалятора, хозяйка взяла свою неизменную спутницу последних лет жизни — большую дерматиновую сумку с выдвижной ручкой на двух колёсах и, как с пулемётом «Максим», шагнула за порог квартиры. Тяжёлым густым облаком полыхнуло ей в истерзанные бронхи смесью табачного дыма, парного смрада подвала, кошачьих испражнений и свежепосыпанной хлорки. Надежда задохнулась, раскашлялась и, прикрывая ладонью лицо, медленно спускалась по ступенькам. На площадке четвёртого этажа на детском стульчике сидел сосед Вадим и самозабвенно выпускал в закопчённый потолок подъезда колечки белёсого дыма.

— Вадим, Христом Богом прошу тебя, не курил бы ты в подъезде, — просипела Надежда.

— Чё, купила ты его, что ли, подъезд этот? Где хочу, там и курю.

— Астма у меня, задыхаюсь.

— Ну и вали куда шла, чё топчешься? — нагло выпуская струю дыма, заржал Вадим.

Глотая от обиды слёзы, женщина почти наощупь выбралась наконец на улицу, оперлась на свою сумку, подставила лицо ветру, расслабила воротник пальто. Липкими и холодными ладонями Надежда вытирала крупные капли пота, стекающие по её лбу, ноги мелко дрожали. Постояла несколько минут, успокаивая бешеный стук сердца, и медленно двинулась по тротуару. Путь до магазина и аптеки недалёкий — за остановку, спешить ей было некуда, и она потихоньку отправилась дальше.

Неожиданная стычка с соседом выбила Надежду из равновесия — сердце сумасшедшим галопом колотилось в груди, дыхание львиным рыком рвало лёгкие. Кое-как добравшись до спасительной остановки, она присела на лавочку. Достала из кармана гильзу ингалятора, нажала на клапан. Раздался короткий «пшик», но спасительной дозы лекарства Надежда не получила. Баллончик был пуст.

— Сейчас отдышусь, успокоюсь, — внушала себе женщина, а остановка предательски раскачивалась вокруг неё, миллионы комариных писков иголками пронзали мозг. — Мне тут недалеко, до аптеки. А там всё будет хорошо...

С коротким стуком упала на вытоптанный снег её удобная сумка, а Надежда, откинувшись в угол остановки, словно рыба на берегу, ловила ртом морозный февральский воздух.

С высоты своего подоконника Тинька смотрел вниз: на стайку свиристелей, доклёвывающих остатки рябиновых ягод, на широкую, заполненную автомобилями улицу, на вереницу людей, осторожно обходящих ледяные островки на тротуарных плитках. Наконец он отыскал взглядом родной силуэт — медленно, осторожно, короткими шажками удалялась от дома его хозяйка. Погромыхивала на колдобинах пустая тележка. Надежда дошла до остановки, присела на ту самую счастливую для него скамейку, где целую кошачью жизнь назад она спасла его... Слезящимися бесцветными глазами он ещё раз посмотрел вниз, потом свернулся калачиком и прикрыл мордочку хвостом.

* * *

Коротко щёлкнула входная дверь.

— Наконец-то, родной, мы тебя заждались! Устал, серый весь прямо...

— Очень тяжёлым сегодня дежурство получилось. Вызовов много. Вспышки на солнце прошли, да ещё и морозы усилились. Пожилым и сердечникам очень плохо такое переносить.

— За выходные отдохнёшь немного. Андрей, ты не будешь против, если я на часок отлучусь, пока Володя спит — в магазине пальто присмотрела, а с нашим непоседой разве померишь как следует? Заодно Федю с занятий встречу, я быстро. Бельё и полотенце для тебя в ванной приготовила. И обед горячий.

— Хорошо, не задерживайся.

Ольга оделась и быстрым шагом двинулась из дома. Две остановки на автобусе, десять минут в магазине — ещё раз посмотреть, насколько идеально села обновка, подчёркивая женственные линии тела. Забежала в универсам — привычными движениями кинула в корзинку молоко, кефир, печенье и так же стремительно возвращалась назад. Вот и её

остановка, сейчас забежать в школу за старшим — и впереди чудесные праздничные выходные в кругу семьи. Уже выйдя из автобуса, она краем глаза увидела тяжёлым кулём сидящую в углу павильона грузную женщину.

— Вам плохо? Я сейчас скорую вызову!

— Не надо, дочка, — просипела в ответ Надежда. — Не могу я в больницу, кот у меня дома один. Помрёт без меня. Вот, — она разжала ладонь, из которой выкатился серебристый баллончик, — в аптеку мне надо...

— Я сейчас принесу, я быстро!

Ольга, оставив пакеты с покупками, бросилась в аптеку, на ходу вызывая неотложку.

— Мне срочно, вот это лекарство! Там на остановке женщине плохо!

— Рецепт есть? — провизор была невозмутима. — Не положено.

— Но ведь человеку очень плохо!

— Вы что, врач? Тогда скорую вызывайте. Можем дать нашатырный спирт, виски разотрёте. С вас сорок три рубля.

Сквозь надвинувшееся марево морока Надежда снова увидела склонившееся над ней светлое лицо молодой женщины.

— Всё хорошо, скорая сейчас будет. Сейчас всё будет хорошо.

Мягкие тёплые женские руки уже расстёгивали ей ворот пальто, давая возможность вздохнуть полной грудью, массировали кисти, пытаясь восстановить ток крови, растирали виски нашатырём.

— Добрая ты, дочка. Спаси Бог, — успокаиваясь, выдохнула Надежда...

Сквозь предпраздничные автомобильные заторы пробивались мигающие огоньки скорой помощи, люди спешили по своим делам, а Надежда — тонкая, стройная, в облегающем красном платье, туго перетянутом белым глянцевым ремешком, лёгкой походкой двигалась в сторону своих давно замечтанных Сейшел. Рядом с ней гордо шагал её любимый экзотический кот Тинька.

Татьяна Гуркова

г. Моршанск, Тамбовская область

ВТОРОЙ ШАНС

Всем пережившим ужасы войны посвящается

1.

Толстощёкому бутузу Витюше три года. Он развит не по годам, мама не нарадуется, как сын схватывает на лету всё, о чём они читают в книжках. Особенно заметно, как с каждым днём пополняется его словарный запас. Витина мама — учительница, и она часто берёт сына с собой на школьные праздники, пришкольный участок, где он общается со старшими ребятами, учится у них, впитывает новые знания будто губка. У мамы даже есть теория, что Витя так, почти играя, усваивает часть школьной программы.

Папа не спорит с мамой о воспитании, ему некогда. Папа — директор школы, коммунист. Он отвечает за воспитание сотен ребят. Особенно сейчас, когда идёт война и отцы многих учеников призваны на фронт. Папа тоже ходил в военкомат, только его не взяли воевать. В животе у папы живёт страшная язва, она иногда спит и никак себя не проявляет, а временами просыпается и грызёт папу изнутри, папа тогда становится бледным, кусает от боли губы, пьёт лекарство, один раз даже лежал в больнице. Когда злая язва затихает, папа очень сильный и смелый, он носит Витю на плечах, подбрасывает его крепкими руками выше головы. Под этажеркой у папы лежат тяжеленные гантели, мальчуган пробовал их поднять — не смог, только если одну двумя руками, и то чуть-чуть над полом поднял. Для себя Витя решил, что, когда вырастет, обязательно будет таким же сильным, как отец, и тоже заведёт себе гантели, которые будет поднимать высоко, будет делать зарядку и обливаться холодной водой, фыркая при этом.

Папа не подаёт виду, но Витькой гордится — смышлёный парень растёт. Однако при всей своей смышлёности Витька ещё не знает слова «оккупация». Это слово он услышал вчера, когда папа с мамой негромко переговаривались между собой, а вокруг происходило что-то странное. Громко лаяли большущие собаки, где-то гремели редкие выстрелы, тётеньки-соседки загоняли ребятишек с улицы раньше времени, а мама завернула отцовский партбилет в чистую белую тряпочку и спрятала в подполе. Хотела и своё колечко спрятать, но потом передумала, надела обратно.

Витька попытался было расспросить маму, что за «опупация» такая и почему нельзя гулять по улице, если там «опупанты», но мама, которая обычно всё объясняет и рассказывает, не захотела вдаваться в подробности. Она сказала только, что пришли чужие нехорошие люди и нужно держаться от них подальше, а маму слушаться и далеко не отходить, тогда всё будет хорошо, но не сразу, потом.

Один раз Витька подставил табуретку к окошку и из-за шторки посмотрел на улицу, там как раз вышагивали «опупанты» в ладных костюмах, только не таких, как у наших солдат, и на головах у них были высокие фуражки, а не пилотки, как у дяди Степана на фотографии. Папа заметил Витькино любопытство, снял его с табуретки и сказал: «Слушай, сынок, маму. Нужно немного потерпеть, и тогда наши прогонят чужих, победят фашистов и будет всё хорошо. Можно будет гулять, учиться, работать, жить счастливо и честно».

Витёк часто-часто заморгал глазами и хотел было даже заплакать, но передумал. У мамы с папой шёл «военный совет», обычно при Витюшке они ничего не обсуждали, а здесь появилась возможность послушать и даже почти поучаствовать. Думали, как быть с нехитрым, но нужным имуществом, как уберечь домашнюю живность. Конечно, свиней и коров они не держали, но коза для свойского молока и здоровья ребёнка в сарайчике жила уже третий год. Когда она только появилась у них во дворе и папа ещё не сколотил для неё сарайку и загородку, молодая козочка паслась, привязанная к колышку, у крыльца.

Порывом ветра тогда принесло по улице старый плакат, непонятно откуда взявшийся, с портретом царя. Коза подпрыгнула как акробатка и схватила плакат. Один край его зацепился за маленький рожок козочки, а второй она затянула в рот и сразу же начала жевать. Взрослые, кто был во дворе, засмеялись и назвали животину Монархисткой за страстное внимание к царю. Витёк этого не помнил, ему рассказывали мама с папой. Они же решили Монархистку перевести в подпол от греха подальше, чтобы и молоко было в семье, и глаза чужакам не мозолила.

Мальчик интересовался и даже немного забавлялся происходящим: когда ещё увидишь козу в доме. Умная животина сразу поняла, что от неё хотят, и по лесенке спустилась, как учёная, будто в цирке выступала. Витёк спросил разрешения у мамы залезть в подполье вместе с козой, чтобы та привыкла к новому месту жительства. Мама дала ему маленькую табуреточку и разрешила немножко посидеть с Монархисткой, чтобы ей не было страшно. Так они и провели некоторое время вместе в подполе, мальчуган даже успел рассказать козе сказку про Липунюшку и «опупантов». Мама с папой заулыбались, глядя на это.

Вскоре забавы закончились. Утром следующего дня, когда отец собирался в школу, в дверь громко постучали. Со страшной силой грохотали мощные удары. Скорее всего, это были не кулаки, а сапоги. Витёк залез под одеяло, хотя только что пытался просить отца, чтобы тот взял его с собой. Дверь родители не успели открыть, она распахнулась под очередным ударом, и в одну минуту посреди кухни очутились два немца с автоматами и переводчик. Последний был не менее свирепый и отвратительный, чем «опупанты». Особо устрашающий вид ему придавал мясистый иссиня-красный, огромных размеров, нос, грушей нависающий над тонкими губами.

Впрочем, переводить ему было особо нечего, отец прекрасно понимал по-немецки, говорил, конечно, с местечковым полуюжным акцентом, слишком мягко, но язык знал безупречно. Переводчик, видимо, был об этом осведомлён. Он отдал отцу бумагу с непонятными чужими буквами. Витёк успел разобрать, что буквы были не настоящие, не наши, как будто бы злые. Сизоносый переводчик презрительно прошипел сквозь зубы: «Через час чтобы все были у школы. Всё, ты понял меня?! Меня не волнует, как ты народ соберёшь. На то ты и директор, чтобы придумать». Отец что-то тихо сказал матери и вышел, а та сразу же начала лихорадочно одевать Витьку и собираться сама. Через несколько минут Витька, держась за мамину руку, бежал к школе. По дороге он выяснил, что это игра такая, кто быстрее к школе придёт, и Витька очень старался победить, изо всех сил перебирал своими маленькими ножками.

Народищу здесь собралось! И тётеньки с ребятишками, и бабки-дедки старенькие, и ребята, кто в школу, как обычно, пришёл, и новые фигуры — немцы, наверное, те самые «опупанты», про которых вчера говорили мать с отцом. Витька глазел по сторонам, вертел головой, старался рассмотреть чужих людей, их формы, значки, собак. Местные взволнованно перешёптывались, а чужаки что-то явно затевали.

И точно: скомандовали на двух языках построиться женщинам и детям. Каждая женщина должна быть рядом со своим ребёнком, маленьких держать на руках. Люди медленно начали выстраиваться.

«Вот это игра! — пронеслось в голове у Витька. — Всё строго. Сейчас, наверное, назовут победителей... А вдруг это я победил? Ну и что, что не самый первый я прибежал? Я же ещё маленький и очень-очень старался».

Неожиданно для всех кто-то в задних рядах выкрикнул: «Оккупанты!»

Витька обрадовался: «Ага! Кто-то ещё знает это загадочное слово! Надо будет спросить потом». Но додумать свою мысль он не успел.

После того возгласа тревожную гнетущую тишину прервала автоматная очередь. В первый момент никто не понял, что произошло, потом началась паника. Плакали, визжали дети, кричали женщины, старики, построенные в ряд напротив, закрывали глаза и уши. Оккупанты... смеялись. Видимо, им казалось забавным, как от страха безумеют люди, как самые маленькие мочатся в штанишки, как подвывают старшие. Витюшка не плакал, он словно закаменел на руках у мамы,

которая повторяла, то шепча, то вскрикивая: «Потерпи, маленький, только потерпи, терпи, Витюша, молчи, мой сладкий!»

Он молчал, зарывшись носиком в мамины волосы. Так же внезапно, как началось, всё и закончилось. Стрельба прекратилась, чужаки переговаривались между собой как ни в чём не бывало, вроде обыкновенных людей. Всё стихло, только стреляные гильзы на земле, вскинутые автоматы непрошеных гостей и искорёженные ужасом лица горожан напоминали о том, что произошло.

Соседский Бориска, сын тёти Мани, поварихи из школьной столовой, что был старше Витьки на целых два года и всегда хвастался этим, отделился от строя и пошёл к школе. «Эти», как мысленно окрестил их для себя Витька, закричали: «Цурюк», — собаки залаяли, Борькина мать, тётя Маня, заголосила. Борька шёл как большой, на глазах у всех, и Витёк ему даже завидовал, но всё-таки боялся немного за него, такого смелого и — беззащитного.

Борька был уже на пороге, когда прозвучал какой-то совсем обыденный хлопок, громкий, но вроде как и не страшный. Борька почему-то упал. Тут уж сломался весь строй. К сыну подбежала тётя Маня и старшеклассники (они стояли ближе всех). Витька тоже хотел бежать, но ноги его не слушались.

Чужаки снова начали выстраивать народ, выкрикивать что-то, стрелять вверх. Местные жители понуро сходились к середине, уже понимая, что ничего хорошего из этого не выйдет. Снова прозвучали автоматные очереди, раздались крики, плач, у некоторых детей началась истерика, Витька молчал. Мама сказала: «Ещё чуть-чуть, сынок, чуть-чуть потерпи», — и, крепко прижав его к себе, шагнула из строя. Она ещё не знала, что Бориска, такой весёлый и задорный, больше не встанет, что через два дня на третий, в день его похорон, повесится тётя Маня, не пережив смерти сына. Но недаром же Витькина мама была учительницей: она переживала не только за своего сына, а и за всех детей.

— Прекратите это безобразие! Слышите, вы?! Нельзя издеваться над детьми!

Отец, молчавший до этих пор в страхе за жену и сына, выступил вперёд и по-немецки, со своим, казалось бы, мягким акцентом, жёстко произнёс:

— Прекратите сейчас же! Вы воюете с армией, но не с малыми детьми и безоружными женщинами и стариками. Вам самим будет стыдно за то, что вы делаете! Как вы сможете после этого жить и спать по ночам?! Вы будете во сне видеть мучения невинных людей. А когда придёт час возмездия, с вас спросят за всё.

Мать и отец упали почти одновременно.

На выстрелы Витька уже не реагировал, он вцепился ручонками в мамину косынку на ещё тёплой шее. Он не понимал, что кричали немцы, что говорили ему тётеньки-соседки; через толщу непонимания и ужаса до него доносился плач ребят, не только маленьких, но и тех, что повзрослее. Витя никому не отвечал, не шевелился. Чьи-то руки подхватили мальчугана и унесли с места казни, которое ещё совсем недавно было школьным двором.

Ещё вчера жизнерадостный ребёнок сегодня перестал говорить, есть, плакать. Казалось, что он и не спит, а находится в каком-то оцепенении. Чтобы присматривать за Витей, в родительский дом перебралась бездетная соседка тётка Ганна. Она разговаривала с малышом, отпаивала козьим молоком и отварами трав, читала над ним молитвы, катала яйцо от переполоха, умывала святой водой, но мальчик молчал, более того, продолжал оставаться ко всему безучастным.

В ходе наступательной операции фашистов из их городка прогнали. Соседи, переживая за Витьку, определили его в детский дом, всё-таки там врач есть. Однако никакой врач Витьке не помог. Ребёнок был вполне здоров физически, у него не наблюдалось даже анемии или истощения, но по-прежнему молча целыми днями сидел посреди комнаты на стуле.

О чём думал Витя в тот момент, никто не знал, но все понимали, что травма ему нанесена глубокая. Желанный любимый ребёнок в одно мгновенье стал сиротой, он лишился всего: родителей, их любви, привычного уклада жизни, самого детства. Другие дети обходили его стороной. Он был странным, непонятным, ладно бы, если бы хоть плакал, или кричал

по ночам, здесь кричали многие, но Витька апатично молчал и к нему пропал интерес.

Только шестилетняя девочка Римма (её нашли на дороге спрятавшейся под телегой), запуганная и истощённая, с седой прядью в правой косичке, его пыталась подкармливать. Она тоже была странной, хотя среди детей войны можно было легко перечесть тех, кто был без странностей.

Римма каждый день подходила к Витьку, гладила его по руке, по голове. Часто приносила свой кусочек сахара, выдаваемый детдомовцам, иногда слегка надкусанный, подносила Витьке к губам и говорила: «Кусочек за маму, кусочек за папу». Витька ничего не отвечал, но сахарок принимал, исключительно с уговорами Риммы. Пытаясь поддерживать жизнь в этом человечке, сама непрочно стоящая на ногах, Римма выпросила как-то на кухне у поварих небольшую чашку ячменного кофе. Витька выпил его почти без уговоров и прижался щекой к тонкой ручке, больше похожей на птичью лапку. Римма беззвучно, как старушка, заплакала.

Тем временем тётка Ганна нашла в доме Витьки и его родителей письмо от старшей сестры Витькиной мамы. Она списалась с Шурой, рассказав, какое горе случилось в одночасье. Исправить что-то вряд ли возможно, пусть хоть приедет в детский дом посмотреть на племянника, тот, говорят, долго не протянет.

Тётя Шура разыскала детский дом. Договорилась, чтобы разрешили увидеться с племянником. Внешнее сходство было заметным, и дети, видевшие тётю Шуру, выходящую из кабинета директора детдома, побежали рассказать быстрее, что к Витьке родня приехала. Витька, как обычно, сидел на стульчике, безучастный к внешним раздражителям: детскому гомону, хлопанью дверей; но вдруг, неожиданно для всех, вскочил со своего места. Дети и взрослые оглянулись на него. Мальчик закричал:

— Мама, мамочка! Ты жива! Ты пришла за мной! Мамочка, я терпел и не плакал! Мамочка, как хорошо, что ты пришла!

С этими словами ребёнок бросился на шею к ошеломлённой женщине, которая не видела его ни разу, но была поразительно похожа на его мать. Витька обхватил ручонками тётю Шуру, свою вновь обретённую маму, а сердечко его стучало так, будто тесно ему в груди, и даже видавшие многое завхоз с посудомойками вытирали, не таясь, слёзы.

Долгих оформлений не потребовалось. Тётя Шура забрала Витьку с собой, а он всю дорогу до Моршанска, маленького тылового городка в центре России, болтал без умолку: о немцах, о козе Монархистке, как спускали её в подполье, какой сильный и смелый у него отец. И всё время Витёк твердил, что слушался маму и не плакал.

2.

Прошли годы. Витька вырос, стал под два метра, «косая сажень в плечах». То ли в генах заложено было, то ли навёрстывал организм упущенные в детстве возможности, но лишения военных лет на его внешнем облике не сказались. Тётя Шура стала ему второй матерью и наравне с родным сыном Женькой воспитывала: ругала и жалела, не делая между ними различий. Даже, пожалуй, к Вите была помягче: а вдруг тот опять впадёт в свой ступор, вдруг погрузится опять с головой в омут воспоминаний и горя, которому ни конца ни края нет. Но Бог миловал, так сильно на него больше не накатывало удушающей мощной волной это нечто: необъяснимое, всеобъемлющее, непонятное, страшное. Виктор, конечно, свои странности в характере имел, но в семье, зная о том ужасе, через который парень прошёл ребёнком, относились к его особенностям терпимо.

Он выучился на повара. Была ли то ирония судьбы или просто так получилось — трудно сказать. Приёмный отец, муж тёти Шуры, Самуил Климович работал шеф-поваром в ресторане «Цна», заведении старинном и претендовавшем на некоторую роскошь, что само по себе для советских лет было необычно. Особенно если учесть, что с войны Климыч (так его все звали) вернулся бравым солдатом и орденоносцем. Но местом работы тем не менее он дорожил и передать хотел его «по наследству» именно Витьку. Всему, что знал и умел, парнишку выучил, тот и не сопротивлялся. Надо же

где-то трудиться, к какому-то берегу прибиваться. А людей кормить — дело хорошее.

Вроде бы всё как у людей у Витьки складывалось. Работал, помогал по хозяйству, ходил на демонстрации 1 мая и 7 ноября, выпивал по праздникам за домашним столом или в компании друзей. Только вот свою семью заводить не спешил, что-то удерживало, слишком прозаичные женщины кругом встречались, сердце не ёкало.

Отозвалось сердце Витька, забилось и запрыгало, когда увидел ЕЁ. Любовь всей своей жизни он встретил... на похоронах. Римма пришла в ресторан, где работал Виктор, заказывать поминальный обед по мужу. Она была так прекрасна в своей скорби, вела себя так достойно и в то же время трогательно, благородно, что Виктор понял: ему нужна именно такая жена. Одна и на всю жизнь.

Естественно, его избраннице сначала было не до ухаживаний, и Виктор окружил её теплом и заботой, вниманием и пониманием. Все хлопоты, сначала с поминальным столом, а потом и хозяйственные, он взял на себя. Ему невообразимо хотелось все её горести тоже взять на себя, оградить от бед своими большими ладонями, а если этого будет мало, то нести по жизни на руках, оберегая.

Избранницу звали Римма. Так же, как ту девчушку в детском доме, что подкармливала странного молчаливого мальчика. У современной Риммы было две взрослых дочери, маленькая квартирка и масса обаяния, шарма, подчас необъяснимого для фабричной работницы. Дочери со временем обзавелись своими семьями, разлетелись из родительского гнезда, Римма с Витьком остались вдвоём в маленькой квартирке на пятом этаже фабричного дома. Витёк в жене души не чаял, да и она растаяла от его заботы, подумывала даже о совместном ребёнке, но взрослые дочери отговорили. Не внушал им Витёк доверия. Да и работа у него с соблазнами связана, мало ли что...

Виктор, чтобы не смущать семью Риммульки, так он будет до конца дней своих звать жену, ушёл из ресторана и выучился на каменщика. Он больше не был в тепле и почёте, но зато и соблазнов не было, выпивать перестал даже в «красные

дни календаря», а на все приглашения друзей «согреться» отвечал отказом, за что был снова признан странным. Витёк умел не замечать очевидного и на суждения людей не обращал внимания. Ему было важно только мнение Риммульки. Кроме неё не осталось у него на всей земле близких сердцу людей: приёмные родители состарились и мирно отошли ко Господу.

С годами Виктор не изменился внешне, неизменной оставалась и его любовь к жене, любовь верная, преданная, такая, что иногда могло показаться, что её на долю Риммы выпало через край. Он готов был звезду с неба достать для своей единственной. А уж чайник спозаранку вскипятить считал ежедневной обязанностью.

Однако Риммулька не была любительницей ранних чаепитий и Витька-жаворонка за бурную деятельность иногда поругивала. Журила и за наивность, и за излишнюю ранимость души, да только ничего с этим поделать не могла. Бывает, напечёт блинцов его любимых, а муженёк хвать несколько штук остывших и быстрей на балкон — гулюшек кормить, пока жена не заметила. Жалел птиц очень, особенно зимой, считал своим долгом их подкармливать. Наверное, в такие минуты отождествлял он этих сизокрылых с собой, детдомовским сиротой, лишённым родного крова и родительской ласки.

Как-то раз супруга отправила его за землёй для пересадки комнатных цветов, наказала копать землю хорошую, жирную. Послушный супруг, вместо того чтобы копнуть земли у дома, рано утром, пока Риммулька спала, отправился за пару километров в посадки с вёдрами и рюкзаком, прихватив маленький термос с кофе. Набрал там самой лучшей земли и, возвращаясь со своей ношей, потерял сознание. Ничего удивительного: для человека, которому вот-вот стукнет восемьдесят лет, ноша была существенной.

Слава Богу, произошло это уже не так далеко от жилых домов и гаражей, в ту самую драматическую минуту или момент добрый человек рядом оказался, он-то и спас Витька, мимо не прошёл и домой доставил. Когда жена узнала, какой фортель выкинул её благоверный, ругалась сильно, а Виктор

только оправдывался, что он сделает всё, что она захочет. «Воспитывали» чудного деда всей семьёй. За годы, прожитые с Риммулькой, сроднились. Вот родня и подключилась к «воспитанию». Шумели обеспокоенно, приводили примеры, мол, что же ты, в колодец прыгнешь, если Риммулька тебе скажет. Виктор твердил, что прыгнет. Если Риммулька скажет ему, то прыгнет обязательно, а без неё и жизнь ему не нужна. Если она умрёт раньше его, то он жить без неё не станет, руки на себя наложит. Поругались близкие на упрямого деда и рукой махнули: не переделать его.

И снова всё продолжалось. Дед Витя кормил голубушек на балконе булками да блинчиками, каждое утро ставил чайник для Риммульки, ходил в магазин за баранками. Тосковал только очень, когда жена в больницу легла.

Риммульке по весне, после Пасхи, стало плохо, разговелась неосторожно, видимо. Положили её в больницу, обследовали, а Витёк оставался дома и переживал за неё. Да так переживал, что к тому дню, когда Риммулька на ноги встала, он ослаб необычайно. Витёк уже не вскакивал спозаранку, не ходил в магазин за баранками, даже за молоком пришлось ходить самой Риммульке. А она рада: пройдётся с пятого этажа вниз и обратно — вот тебе и зарядка, да и с соседками поболтать можно. Подружка давняя, Маня с четвёртого этажа, тоже каждый раз за молоком ходила. Она-то и спохватилась, что Риммулька в назначенный час в очередь не явилась. Начала звонить подруге, потом её дочери, внучке. Ринулась, в меру своих восьмидесяти двух, конечно, домой к Риммульке. Витёк в этот момент вышел на кухню чайник поставить. Там они Риммульку и увидели.

Витёк замер. Он вроде бы всё понимал, но как будто впал в переходное состояние между жизнью и смертью. Наложить на себя руки сил у него, похоже, не было, но и жить он явно не хотел. Он перестал есть. Проводить Риммульку в последний путь он не смог. Поминать тоже отказался.

Кто знает, может, была у него последняя надежда, что если не поминать Риммульку за столом с едой, то всё ещё вдруг да изменится. И, как мама была дана ему жизнью второй раз, так и Риммулька вернётся, если не принимать её смерть.

Он с детским упрямством не признавал смерть Риммульки и не мог себе представить свою жизнь без неё.

Родным удавалось уговорить его лишь выпить кофе. Вызвали врача. Как когда-то, много лет назад, тётя Шура спрашивала у старенького доктора в детском доме, есть ли у Вити шансы на нормальную жизнь, так сейчас внучка Риммульки Марина интересовалась у участкового врача, сможет ли дед пережить эту потерю. Врач сказал, что организм в порядке, Виктору Филипповичу нужно просто регулярно питаться. Но без Риммы он есть отказывался и просто таял на глазах.

Так прошли девять дней без Риммульки. Родным показалось, что дед начинает наконец осознавать неизбежность потери, свыкаться с произошедшим. Только он уже не был привычным для семьи Витьком, наивным, доверчивым, чуть странным. Он выглядел обычным пожилым человеком. Когда в доме заговорили о поминках, церковной службе, отпущенной по рабе божьей Римме, Виктор Филиппович немного взбодрился и даже разговорился с близкими. Вспоминали прошлое, Риммульку. Он за разговорами поднялся на ноги, вскипятил чайник и сам приготовил всем кофе. Риммулькина подружка Маня вздохнула облегчённо, мол, теперь можно не переживать.

...На следующий день Виктор Филиппович умер.



Сергей Горбунов

г. Павлодар, Республика Казахстан

БЕЗ ВЕСТИ ПРОПАВШИЕ

Ставка Верховного Главнокомандования нервничала. Это генерал-майор Корнеев понял по той интонации, с которой ему было приказано немедленно прибыть в Главное разведывательное управление Генштаба Красной Армии. И теперь, пробираясь к Москве в безотказной «эмке» по остаткам шоссе, начальник разведки Западного фронта силился угадать причину вызова в ГРУ. Или его ведомство допустило в чём-то промашку, не разгадав маневров немцев, или недавно назначенный командующим Западным фронтом генерал армии Жуков, чей суровый характер Корнееву уже пришлось испытать на себе, потребовал сменить его, начальника разведки.

Оба варианта не исключались, так как германские войска, стремясь завершить операцию «Тайфун» по овладению Москвой, уже полукольцом охватили её и, ведя ожесточённые бои практически в ближайшем пригороде с обороняющимися частями Красной Армии, реально надеялись в декабре войти в столицу. Об этом Корнеев знал из радиоперехватов немецкой связи, а также из неотправленного письма одного из убитых немецких офицеров, который сообщал своей семье, что 1942 год фюрер встретит в Кремле, в кресле Сталина.

От этой мысли генерал-майора передёрнуло. Даже накатил страх от сознания того, что его, боевого офицера, прозевавшего замыслы врага, лишат звания и расстреляют как не справившегося с возложенной на него задачей и пособника врага. Такие примеры уже имелись не то что с командирами полков, но и дивизий. В этих случаях Сталин расправу не откладывал, чтобы другим неповадно было.

Стараясь отвлечься от этих навязчивых мыслей, Корнеев переключил внимание на то, что проплывало за окнами машины. Картина была удручающая. От линии фронта тянулись вереницы санитарных машин, а к передовой изредка везли боеприпасы и орудия. Попадались и пешие колонны московских ополченцев, и ещё не обстрелянные подразделения, переброшенные к фронту из Резерва Главнокомандования.

А по сторонам от дороги, влево и вправо до горизонта, на стылом заснеженном поле копошились тысячи людей, мобилизованных на рытьё заградительных траншей. Смотря на эту фортификацию, начальник разведки Западного фронта осознавал, что она в большей мере — скорее результат отчаяния Генштаба и руководства страны, чем однозначная победа врага. Немцы с юга подошли к Туле и Кашире, в центре взяли Можайск, Боровск и Малоярославец, на севере — Калинин, Клин и Красную Поляну, а это — два шага до столицы и возможное её окружение.

Да, на Красной площади 7 ноября прошёл военный парад, символизирующий веру Сталина и ЦК партии в разгром фашистских полчищ и в то, что они не войдут в Москву. Но жители столицы знали: все иностранные дипломаты, партийные и советские органы, крупные предприятия и учреждения культуры перебрались в Куйбышев, на Урал.

В подмосковных окопах тоже были в курсе, что те, кого Верховный Главнокомандующий приветствовал на ноябрьском параде с трибуны Мавзолея, своим ходом, то есть пешком, пришли на передовую, которая фактически начиналась в 20—30 километрах от столичных окраин.

Это вызывало у многих если не панику, то оправданную тревогу и опаску за дальнейший исход войны. И это был один из самых трагических её моментов. Чувство надвигающейся всеобщей беды, перемешанное с накопившейся злостью советских людей на вероломных захватчиков, порушивших мирную жизнь страны, сцементированное жесточайшими приказами Ставки, выплеснулось невиданной энергией людей, сдерживающих напор врага.

Те полуголодные женщины, старики и подростки, занятые на строительстве оборонных сооружений, нередко падали

от непосильного труда, а оклемавшись, вновь принимались рыть траншеи и наращивать насыпи, чтобы враг не прошёл. Про передовую и говорить было нечего. Начальник разведки Западного фронта бывал там и знал, что наступающая 51-я дивизия германской группы армий «Центр» вал за валом накатывается на наши позиции, предварительно интенсивно бомбя их и обстреливая из орудий.

День превращался в ночь из-за разрывов бомб и снарядов и гари пожарищ. А ночь, ослеплённая осветительными и сигнальными ракетами, сжималась под натиском этого холодного, мёртвого света. Утром же всё начиналось по-новому.

И падало небо на землю, изрешечённое снарядами, осколками и пулями. И взлетала к небу земля, увлекая за собой искорёженную технику и орудия, куски человеческих тел вперемешку со стылым грунтом и чёрно-красным снегом. И когда немцы предпринимали очередную атаку, уверовав в то, что после такого артобстрела и бомбёжки все бойцы Красной Армии перебиты, откуда-то из небытия начинали стрелять пушки и строчить пулемёты, а истекающие кровью красноармейцы бросались с гранатами под танки, чтобы не отдать Москву на поругание.

Так на московском плацдарме продолжалось изо дня в день уже месяц. Но по всем законам военной стратегии и тактики должен был наступить момент, когда эти затяжные бои качнут стрелку успеха в ту или иную сторону.

...Разведчик Корнеев знал, что ярость в атаках немцев — это и отчаяние за неудавшийся «Блицкриг» («Молниеносную войну»), и страх от упорства советских бойцов, и ненависть к ним за то, что, похоже, в зиму «победоносным» немецким войскам придётся остаться в окопах, на морозе, среди заснеженных полей и лесов. Тем не менее у германского командования сохранялась надежда войти в Москву, потребовать у русских капитуляции и отправиться домой, в фатерлянд, подальше от этой варварской страны и ужасов от отчаянного сопротивления русских. Ради этого немецкие генералы и другие офицеры, как свидетельствовали «языки», не жалели своих подчинённых, посылая их в атаки и требуя у фюрера ещё дополнительных дивизий.

Всё это Корнеев перебирал в голове, стараясь выстроить схему доклада генерал-майору Панфилову, недавно назначенному начальником Главного разведывательного управления Генерального штаба. Каков он, новый его командир, генерал-майор не знал. Одно лишь успел выяснить, что тот Панфилов, который героически воюет под Волоколамском, — не родственник руководителю ГРУ.

Но всё получилось не так, как Корнеев представлял. Генерал-майор Панфилов оказался хватким: владел ситуацией на всех фронтах, обороняющих Москву, и планами немецкого командования. По этой причине он сразу перешёл к делу.

— Вызвал я вас, Тимофей Фёдорович, чтобы посоветоваться по поводу одной идеи, которая может стать началом большой операции наших войск. Как вы знаете, сегодня положение Красной Армии под Москвой очень тяжёлое. Не хватает танков, самолётов, орудий и боеприпасов. А главное — людей. Они есть, но пока ещё находятся далеко в тылу. В Сибири сейчас формируются полки и дивизии. В промышленных районах страны к погрузке готовится техника, орудия и боеприпасы. Это жизненно важное для Москвы подкрепление прибудет где-то к концу ноября, то есть через неделю, а то и полторы.

Наши бойцы дерутся с фашистами отчаянно, но силы их тают, численный перевес на стороне врага. По данным нашей разведки, в том числе и с вашего фронта, немцы это неравенство предполагают и намерены предпринять решительный штурм Москвы. Наши войска к этому готовятся (по дороге сюда, наверное, видели технику и резервистов) и будут биться насмерть. Но прежде мы должны дать противнику ложные данные.

— Какие именно и каким образом, товарищ генерал-майор? — Корнеев даже подался вперёд.

Панфилов подошёл к карте, висевшей на стене, раздвинул матерчатые шторки и взял указку.

— В нескольких местах вашего Западного фронта, примерно здесь и здесь (генерал армии Жуков — в курсе этого), необходимо сделать так, чтобы к немцам попали документы бойцов сибирских полков. Конечно, надежда слабая, что немцы, узнав таким образом о свежем подкреплении Красной Армии, отменят свой наступательный поход на Москву. Разведка вермахта тоже хитра. Нам необходимо выиграть время: измотать противника в затяжных боях до подхода сибиряков и формирований из других регионов и посеять в штабе группы армий «Центр» сомнения и опаску. Вот я и позвал вас посоветоваться, как это лучше сделать.

...Корнеев ответил не сразу. Изучив за прошедшие месяцы войны повадки врага, в том числе и его разведки, он знал, что где-то немцы очень изобретательны в шпионаже и дезинформации, а где-то клюют на простую наживку, подброшенную им. Начальник разведки Западного фронта прикидывал, как и что необходимо сделать, чтобы воплотить то, о чём ему сказал Панфилов.

— Разрешите высказать свои соображения, — генерал-майор Корнеев наконец прервал молчание. — В тех местах, где вы показали (можем и ещё для страховки добавить), мы сымитируем наступление наших подразделений, скажем, батальона или полка, и отступим на прежние позиции, оставив на территории, занятой немцами, среди убитых красноармейцев несколько трупов наших бойцов, переодетых в новое обмундирование и снабжённых красноармейскими книжками сибирских подразделений. Наши разведчики этот «камуфляж» устроят лучшим образом.

— Хорошо, но малоубедительно. Я тоже бываю на передовой и знаю, какой изможднный серый цвет лица у бойцов от непрерывных боёв, а сибиряки имеют, скажу я вам, бравый вид. Да и с переодеванием трупов и другими факторами, как вы выразились, «камуфляжа», не всё может быть гладко. Нет, немцы в эту уловку могут не поверить, — генерал-майор

Панфилов покачал головой. — Хотя как дополнительный вариант эта идея имеет право на жизнь.

...И тут Корнеев понял, что от него ждёт начальник ГРУ штаба Красной Армии. Словно прочтя эти мысли, тот сказал:

— Да, да. Легенда должна исходить от живых, конкретных бойцов и офицеров. Наши коллеги из НКВД тоже примут участие в этой операции. Ваша задача сделать так, чтобы на участках Западного фронта «сибиряки» благополучно попадали на территорию, занятую немцами. Кто-то пусть изобразит перебежчика, кто-то во время атаки окажется отрезанным от своего подразделения и попадёт в плен. А дальше они станут действовать по своим инструкциям.

— Это надо предпринять в самые сжатые сроки, — продолжил Панфилов. — Тех, кому поручено выполнить этот приказ и дальнейшие указания, вы получите в своё распоряжение к концу сегодняшнего дня. Ваши разведчики, о которых вы отзываетесь с похвалой, тоже могут принять в этом участие. Но всё это должно быть сделано в обстановке строгой секретности и под вашим личным контролем. Обо всех этапах данной операции вы мне обязательно докладывайте в любое время суток. Вы поняли задачу? Если да, то — желаю успеха.

Попрощавшись с Панфиловым, Корнеев всю обратную дорогу думал о том, кого из офицеров послать к немцам, скорее всего — на верную смерть. Об этом в узком кругу командиров разведок 16-й, 31-й и 50-й армий, действующих на флангах и в центре обороны Москвы, он и повёл речь. От тех, кто отправлялся к немцам с дезинформацией, требовалось не только геройство и артистизм, но в большей мере — безоглядная готовность пройти через муки и истязания допросов, выдержать их ради выполнения задания, ни минуты не надеясь на то, что враг оставит в живых.

И закрутилось невидимое мощное колесо специальной операции разведки и НКВД. Уже через двое суток пятеро офицеров, изображавших по легенде бойцов из сибирских частей, оказались на территории, занятой немцами. Ещё через двое суток начальник разведки Корнеев вновь был вызван

к генерал-майору Панфилову. Как и в первый раз, командир ГРУ, поздоровавшись, начал без предисловий:

— Вы мне регулярно докладывали о ходе подготовки к операции и её проведении, но мне хотелось бы услышать некоторые подробности.

— Точными данными, товарищ генерал-майор, о судьбе перешедших линию фронта мы пока что не располагаем. Но, похоже, они выполнили свою задачу, так как за последнее время немцы не предпринимали больших наступлений, в их войсках замечена перегруппировка частей. Что касается подробностей, то тот офицер, который должен был изображать перебежчика, сделал это мастерски: и по-немецки что-то кричал, когда выбежал из леса к вражеским позициям, и руки вверх поднял, и на колени упал, и улыбался им, когда они его в окоп тащили.

Всё это старший в группе сопровождения сам в бинокль видел. Если бы, говорит, товарищ генерал (это он мне, когда я его расспрашивал), не ваше задание, я бы этого гада шлёпнул из автомата. Уж больно он перед немцами вьюном вился. А может, он обманул всех и взаправду к ним переметнулся?

Пришлось, товарищ генерал-майор, убеждать командира группы в том, что всё сделано так, как надо.

А в 289-м противотанковом полку, что под Волоколамском, сержант Кононов из разведгруппы вообще геройство совершил. Вышли они в тылу врага на одно из селений. Выведали, где живёт полицай, и прямиком (вроде не знают, кто он) в его избу. Разведчики, дескать, мы, из Сибири недавно под Москву прибыли, вот и высматриваем немецкие позиции для артиллерии. Да что-то наш командир приболел. Мы, мол, оставим на время его у вас, а сегодня вечером или завтра рано поутру заберём с собой.

«Пристроили» они, значит, офицера в дом к полицаю, а сами — в лес, наблюдать, что дальше будет. Спустя время этот полицай помчался за подмогой. Прибежали ещё трое предателей, скрутили беднягу из НКВД и увезли куда-то. Чуть позже в это село рота немцев нагрянула и принялась маскироваться вокруг дома полицая и у опушки леса. Вечером разведчики полка сделали вид, что пробираются к дому, где оставили товарища, и нарочно вышли на вражеские дозоры. Те — стрелять, а наши, вроде с боем, начали отступать. Все целы, а сержанта Кононова ранило в грудь. Тогда он сказал разведчикам, чтобы они уходили (задание надо не только выполнить, но и доложить), а он ещё повоюет с фашистами. И воевал, а потом взорвал себя и окружавших его немцев, смертью своей подтвердив легенду о сибиряках.

...Корнеев умолк. Молчал и Панфилов. Даже телефоны на столе начальника ГРУ притихли, как бы понимая трагизм момента и скорбь по погибшим.

Между тем немецкое командование группы армий «Центр» первого декабря предприняло попытку прорваться к Москве в районе Апрелевки. Это наступление было отбито, как и другие предпринимаемые врагом до пятого декабря. К этому времени на подмогу оборонявшим столицу подошли воинские подразделения из Сибири и других регионов страны. Подвезли технику, вооружение, боеприпасы, и враг уже не казался таким грозным. Более того, Красная Армия почувствовала, что он обессилен.

Западный фронт при поддержке Калининского и Юго-Западного фронтов перешёл в наступление. 9 декабря советские войска освободили Рогачёво, Венёв, Елец, 11-го — Сталиногорск, центр Московского угольного бассейна и один из мировых центров химической промышленности. 12-го наши войска вступили в Солнечногорск, 13-го в Ефремов, 15-го в Клин. 16 декабря у врагов отбили Калинин и 20 декабря — Волоколамск. За полторы недели в ожесточённых боях советские войска отбросили фашистов от столицы где на 100, а где и на 250 километров.

Встретившись на одном из совещаний в Ставке с Корнеевым, генерал-майор Панфилов не без удовольствия сказал:

— А ведь обманули мы с вами, Тимофей Фёдорович, немецкое командование. Поверили их генералы в сибирский резерв, и выиграли мы паузу.

...А затем, согнав улыбку с лица, начальник Главного разведывательного управления Штаба Красной Армии вздохнул и обратился к начальнику разведки Западного фронта:

— Вы дайте команду, чтобы подготовили списки к награждению орденами Красного Знамени тех, кто участвовал в этой операции. Я их завизирую. Вашего сержанта-разведчика (ну того, что был ранен и остался драться с врагом, прикрывая товарищей) представьте к Герою. Посмертно.

— А как же те, кто, выполняя задание, пошёл к немцам?

...Корнеев сбился, не зная, что сказать дальше.

— Они тоже будут представлены к званию Героя Советского Союза, — Панфилов сделал паузу. — Их запишут без вести пропавшими.

ФРОНТОВЫЕ ЖЁНЫ

Конфликт назревал исподволь.

Позади осталось сообщение Левитана по радио о том, что война окончена и что гитлеровская Германия подписала акт о безоговорочной капитуляции. Радостные возгласы и объятия со стоящими рядом поутихли. Позабылись и наспех собранные застолья, на которых одни плакали от счастья, что скоро увидят своих воинов, а другие роняли горькие слёзы в горькую водку, оплакивая и погибших, и свою женскую долю, искорёженную войной.

Сошли на нет многолюдные митинги на предприятиях и на городской площади, где славили Победу, товарища Сталина и доблестную Красную Армию, разбившую фашистов. Опустел и перрон на станции Павлодар, куда раз в неделю из Кулунды прибывал пассажирский поезд. Основной поток возвращающихся с войны уже схлынул, так что приезжающих в город по этой тупиковой железнодорожной ветке Транссибирской магистрали было немного. Они не будоражили внимание жителей, которые постепенно входили в привычный уклад жизни.

Павлодар хотя и стал областным центром перед войной, но не набрал за её годы «начальственного» лоска и величавости, а также промышленной мощности, подобающей его статусу, оставаясь провинциальным городом с населением в несколько десятков тысяч жителей. Немалая часть горожан приходилась друг другу близкими и дальними родственниками или, хорошо или понаслышке, знакомыми между собой. В городе главенствовал патриархальный уклад со своими моралью и оценкой каждого.

Всё это нарушил приезд фронтовиков. Они были уже не те довоенные мужчины, парни и девушки, а посуровевшие, скорые на решения и ответ люди, знающие себе и другим цену, порою действующие с натиском, как на фронте. Вдобавок многие привезли с собой, особенно изувеченные, пристрастие к алкоголю и агрессию к окружающим.

Выделялись и бывшие фронтовички. Некоторые из них, пройдя жестокие сражения, научились курить, а то и матерно выражаться, когда кто-то из парней или мужиков пытался распустить руки или сказать им что-либо сальное.

Но больше всего женскую половину города возмущало то, что несколько участниц войны вернулись с неё беременными. И это сразу породило молву о том, что все они — медсёстры, радистки и снайперы — не воевали, а были «фронтовыми жёнами», прошли там огонь, воду и медные трубы и знают, как завлечь и ублажить мужиков. Это приводило в ярость тыловых девиц на выданье, которые, не скрывая, соперничали друг с другом за привлечение немногочисленных женихов, оставшихся после войны.

Так, накапливаясь, неприязнь к фронтовичкам в конце концов выплеснулась в доме вроде клуба возле железнодорожного депо, где под баян танцевала молодёжь. В основном это были девушки, подросшие за военные годы, и пришедшие из армии молодые мужчины и женщины. Каждая из них надеялась здесь, на танцах, встретить долгожданного парня, чтобы затем создать с ним семью, поэтому и недавно уволенные в запас, и молодые работники местных производств были нарасхват.

Когда в очередной раз фронтовичка Сима Яровая направилась к приглянувшемуся ей парню, чтобы пригласить его на «дамский» вальс, её перехватила Лиля — старшая из сестёр-погодок семьи Гармаковых. Они всюду ходили вместе и так же, сообща, нападали на тех, в ком видели угрозу. Преградив Симе дорогу, младшая Вера с вызовом сказала:

— Ты к Григорию не цепляйся. С ним Лиля будет дружить!

— А это он сам решит, с кем ему быть, — отрезала Серафима, пытаясь обойти сестёр.

— Да он на тебя, «фронтовую жену», и смотреть не будет, — ввязалась в перепалку старшая из сестёр Гармаковых. — Знаем мы, чем вы там, на фронте, занимались... Вон медичка Галка Светёлкина воевала-воевала — и брюхатая приехала.

— А вот Галину ты не трогай! — неожиданно резко сказала стоящая неподалёку в военной гимнастёрке и такой же армейской юбке Полина Суркова, про которую в городе говорили, что она на фронте была снайпером. — Её жених, с которым они должны были расписаться после окончания войны, погиб в Берлине, за несколько дней до капитуляции Германии. И нечего про неё злословить.

— Чья бы корова мычала, — отпарировала Лилия. — Ты такая же офицерская подстилка, и ещё что-то пытаешься...

...Закончить фразу она не успела. Полина коротко, по-боксёрски, снизу вверх, врезала ей в лицо так, что обидчица качнулась назад, а после второго, такого же жёсткого, но уже прямого удара — упала на четвереньки и завыла по-волчьи, пачкая пол каплями крови из разбитых губ и носа.

Поднялся шум, на который прибежал участковый милиционер и повёл всех — и подравшихся, и свидетелей, и любопытствующих — в расположенный неподалёку линейный отдел железнодорожной милиции. Так туда и ввалились толпой, галдя и пытаясь на свой манер рассказать дежурному о происшествии.

Это продолжалось недолго: появившийся заместитель начальника этого подразделения НКВД капитан милиции

Шамраев быстро навёл порядок. Он предложил Лиле Гармаковой написать заявление об избиении, а Полине Сурковой — объяснительную. Нескольким очевидцам было велено письменно дать свидетельские показания.

Пока они это делали, капитан, выпроводив остальных на улицу, начал изучать написанное девушками. До войны, работая в этом линейном отделении, он в лицо знал многих в городе, в том числе и участников этого инцидента на танцах. В войну его призвали в органы НКГБ, и он на фронте насмотрелся и на дезертиров, и на тех, кто устраивал самострел, и на засланных врагов. На прежнее место милицейской службы Шамраев вернулся после обширных осколочных ранений и нескольких месяцев госпиталя. Пройдя фронт, капитан на многие житейские конфликты стал смотреть по-иному.

Вот и сейчас он раздумывал, как начать разговор с потерпевшей и виновной. Но его мысли были прерваны ворвавшейся в отделение матерью Лили, кем-то оповещённой о происшествии. Шамраев был знаком с этой грузной и нагловатой женщиной, ни дня не работавшей на производстве, но живущей лучше многих лишь потому, что её безропотный муж, отпахав смену на мельничном комбинате, брался за любое дело, если оно принесёт доход.

Были у капитана подозрения, что этот затюканный подкаблучник, избежавший призыва в армию из-за слабого здоровья, приворовывает на своём производстве, но, как говорится, не пойман — не вор.

Сама Клавдия Гармакова, по имеющимся в милиции сведениям, приторговывала брагой и самогоном, производство которых стражи порядка всё пытались прикрыть, да как-то руки не доходили.

...Прямо с порога Гармакова-старшая начала кричать о том, что военные проститутки избили её дочек и что она упечёт в тюрьму этих бандиток, а милиционеры, покрывающие их, будут уволены со службы, так как она завтра же утром обратится к прокурору и в горком партии. Далее, всё так же выкрикивая угрозы и проклятья, пришедшая разбираться

в милицию особа принялась утирать подолом платья распухшие нос и губы дочери, пытаясь одновременно кинуться на Полину, стоящую неподалёку от дежурного.

И вновь окрик Шамраева навёл порядок. Он уже успел прочесть заявление, объяснительную, свидетельские показания и теперь знал, как действовать.

Повернувшись к Гармаковой-мамаше, он сухо спросил её, откуда у той данные о том, что в Красной Армии служили и служат проститутки? С какой целью она публично распространяет эти сплетни и клевещет на Вооружённые Силы страны? И для чего она втолковала это своим дочерям, которые спровоцировали драку на танцах?

Но Гармакова была не так проста. Опешив поначалу от слов капитана, она пошла в наступление:

— Нет, вы поглядите, как он всё повернул! Мою дочь избили, и мы же ещё виноваты! Я до Москвы дойду, а правды добьюсь!

— Ваше право, — согласился заместитель начальника линейного отделения милиции. — Только вначале вы и ваши дочери ответите за хулиганство в общественном месте, а вы, гражданка Гармакова, ещё и за распространение антисоветских измышлений. Я также не исключаю того, что после обыска в вашем доме вы, возможно, будете привлечены и к уголовной ответственности за торговлю спиртом, а ваш супруг — за хищение муки с мелькомбината. По нашим данным, спиртное и этот продукт хранятся и сейчас у вас дома.

Про самогон и муку капитан сказал скорее наугад, но — попал в цель. Буйная мама двух дочек сразу сникла и тут же напустилась на старшую за то, что та связалась «вот с этой», — кивок в сторону Сурковой. Хотя с языка женщины готово было сорваться хлёсткое и обидное слово в адрес фронтовички, но родительница сдержалась, опасаясь того, что это вновь обернётся против неё.

«Правдоискательница» начала убеждать капитана и дежурного лейтенанта в том, что ничего страшного не произошло: подумаешь, девчонки поссорились из-за женихов. Чего

по молодости не бывает! Ну а раз так, то не стоит поднимать шум, она с дочерями сейчас пойдёт домой, а бумаги, которые здесь оформили, следует порвать.

— Нет, — отрезал капитан милиции. — Никто ничего рвать не будет. Если вы действительно хотите прекратить разбирательства по этому вопросу, то ваша старшая дочь должна написать заявление о том, что не имеет претензий к гражданке Сурковой.

...Всё это было исполнено быстро и беспрекословно, после чего мама и дочери сноровисто выскользнули за дверь.

— Ну что, снайпер, — теперь капитан обратился к Полине Сурковой, — всё ещё воюешь?

— Так, товарищ капитан, она же своим поганым языком девушек-фронтовичек грязно оскорбляла. Пока они тут с сестрой за партами сидели, другие, почти что их ровесницы, на фронте не жалели себя, мечтая об окончании войны. А они и подобные им теперь про нас сплетни распускают.

— В курсе я этого, — устало сказал капитан. — Сам на фронте был и много чего видел и знаю. Ты, конечно, молодец — сумела постоять и за себя, и за подруг. Но больше руки не распускай. Кто знает, как в следующий раз дело обернётся. Считай, что я с тобой провёл профилактическую беседу. Иди — отдыхай. Да, кстати, ты на каком фронте была?

— На Волховском, — ответила Полина.

— А я на Юго-Западном, — продолжил Шамраев, — где меня и зацепило осколками. Ну да ладно, топай к родителям.

...Выслушав у дежурного оперативную сводку за последние часы и положив в своём кабинете папки с расследуемыми делами в сейф, Шамраев тоже направился домой. Город готовился ко сну, и на улицах было безлюдно. Шагая в одиночестве в тишине, нарушаемой изредка лаем собак, капитан думал о сегодняшнем происшествии на танцах и о девчонках-фронтовичках.

На войну они, как их учили в школе и в комсомоле, пошли по зову своего сердца. Та же Полина Суркова, отца которой — степенного токаря судоремонтного завода —

Шамраев знал, занималась спортом, перед войной получила значки «Общество содействия обороне, авиационному и химическому строительству» (сокращённо ОСОАВИАХИМ) и «Ворошиловский стрелок». Не раздумывая пошла Полина в военкомат и вскоре была отправлена на фронт. А многие из её подруг остались дома, сказав, что война — не женское дело.

В чём-то они были правы и тоже в тылу хлебнули лиха, но им, к счастью, не довелось слышать разрывы снарядов и свист пуль. Они не испытали страха от бесчисленных атак врага, горечи потерь боевых товарищей и того тоскливого ожидания смерти, которая в любой момент может прийти за ними.

Там, на фронте, некоторые девушки не выдерживали всего этого и по-детски стремились домой, к мамам, чтобы вырваться из этого фронтового ада. Но они числились военнообязанными и должны были до конца исполнять свой долг. И тогда с отчаяния и по наивной хитрости эти девушки отдавались полюбившемуся им офицеру или рядовому, чтобы забеременеть и комиссоваться. Но командование быстро раскусило такую уловку, приравняв её к дезертирству, а готовящихся стать матерями жёстко отправляли в медсанчасти на аборты.

Были и такие фронтовички, кто, устав от войны и не надеясь остаться в живых, желали найти себе прикрытие и хотя бы на короткое время получить женское счастье. Так они становились «фронтовыми жёнами» вышестоящих офицеров. И некоторым даже удавалось отбить от законных супруг своего избранника. Но большинство фронтовичек, как те крестьянские лошади, безропотно тянули военную лямку наравне с мужиками и не думали о женских плотских утехах. А если кто-то пытался принудить их к этому, то получал яростный отпор, так как настоящие фронтовички берегли свою девичью честь.

Размышляя так, капитан почему-то вспомнил одно из фронтовых дел, когда ему предстояло получить ответ: почему во время атаки батальона командир данного подразделения

получил сразу три пули: две в спину и одну — в затылок. Тогда он допросил многих бойцов, выясняя всё об этом офицере, его окружении и негативных чертах характера. Но все, как заведённые, твердили о том, что товарищ подполковник хороший офицер и знает своё военное дело. А погиб, по-видимому, когда во время атаки повернулся лицом к бегущим за ним солдатам, призывая их не отставать и громить врага. И в это время в него попали вражеские пули.

Это, конечно, звучало правдоподобно, но милицейский и фронтовой опыт подсказывал особисту, что здесь что-то не так. И он получил ответ на этот вопрос.

В один из дней расследования ему сказали, что из разведки вернулись бойцы с тяжело раненным товарищем и тот просит капитана прийти к нему, так как он хочет дать важные показания.

Прибыв к медикам, которые готовились отправить раненого в медсанчасть, Шамраев увидел молоденького ефрейтора. Тот попросил, чтобы все вышли из палатки. Когда это было исполнено, боец, словно боясь, что не успеет высказаться, с придыханием начал говорить:

— Одна пуля в командире батальона, та, что в затылке, товарищ капитан, — моя. И она — главная в смерти комбата. Так что вы ребят не допрашивайте, а спишите всё на меня, я всё равно до госпиталя не дотяну.

— А зачем, боец, ты это сделал? — Шамраев даже вспотел от такого откровения. — Твои боевые товарищи характеризовали подполковника как хорошего офицера, знающего своё дело...

— А это ему за Лизу Кургузову, — выдохнул раненый. — Снайпер у нас такая была. Красивая и добрая. Мы её оберегали, а товарищ подполковник захотел, чтобы она стала его любовницей. И заигрывал с ней не таясь. А Лиза была честной девушкой и так себя вести она не пожелала. Когда наш комбат попытался её взять силой, как мы потом узнали от одного из солдат, бывшего в то время возле блиндажа, она ему пощёчину влепила и убежала, а он очень грязно начал её обзывать.

А потом стал посылать на самые рискованные участки передовой линии. Там её и углядел немецкий снайпер, и сразил наповал. Наши ребята ночью пробрались туда и доставили её тело в батальон, а утром — похоронили на опушке леса. Но каждый из нас, не сговариваясь, затаил злобу на комбата за смерть Лизы. Для пожилых бойцов она была как дочь, а для нас, молодых, — возможная невеста. И вот в том бою для товарища подполковника наступила расплата за её гибель.

...Солдат умолк и закрыл глаза. Как и предполагал тяжело раненный, он не дожил до госпиталя. А Шамраев написал в заключительном документе расследования, что командир батальона геройски погиб в бою во время атаки.

...Вспомнив снайпера Лизу, милиционер почему-то провёл параллель между ней и Полиной Сурковой. И даже похвалил себя за то, что не стал наказывать её, оберегающую свою девичью честь.

Капитан в тот момент не знал, что пройдёт каких-то семь десятков лет — и появятся внуки и правнуки фронтовиков, отдельные из которых (как такое могло появиться в их умах?) будут рассуждать о том, что не надо было губить в той войне столько граждан Советского Союза. И бросаться под танки и на амбразуры тоже не стоило. Отступили бы, дескать, до Урала, а потом Германия под натиском стран мира и из-за невозможности управлять такими обширными территориями вернулась бы в свои границы. Они, эти потомки, станут говорить что-то ещё и приводить свои «железные» аргументы, упустив в них самое важное — долг, честь и совесть человека. Не говоря уже о целомудрии. Глупом и смешном, по их понятиям.

Иван Данилов

г. Углегорск, остров Сахалин

МАМИН ЮБИЛЕЙ

1.

Чем ближе Татьяна Ивановна подъезжала к родному дому, тем больнее щемило сердце. А когда таксист оставил её одну у подъезда, она просто разрыдалась, так как больше не могла сдерживать слёзы. Они скатывались по её щекам горячими крупными каплями и, казалось, обжигали не только щёки, но и болью отзывались в сердце.

Быть такой слабой и беззащитной, и именно в эту минуту, ей было совершенно ни к чему, поэтому женщина попыталась взять себя в руки. Нужно было срочно отвлечься, переключить внимание с нахлынувших воспоминаний детства на что-то приятное и дорогое.

Татьяна Ивановна живо представила себе небольшой и уютный городок, расположенный на западном побережье Сахалина. Перед глазами сразу чередой, словно в киноленте, замелькали картины её любимых мест — уголок прибрежной полосы моря, находящийся прямо в городской черте за развалинами послевоенных строений, не выдержавших испытаний постсоветского хозяйствования. Сюда она любит выезжать в редкие свободные минуты, чтобы снять накопившуюся усталость, полюбоваться полной загадок необъятной водной гладью, подышать неповторимым морским воздухом и, главное, побыть наедине со своими мыслями и с самой собою.

Затем из дальних закоулков памяти проросли картинки живописной сахалинской природы: водопад, разноцветье и благоуханье трав, неповторимый в своём величии, красоте и богатстве осенний лес с обилием ягод и грибов. Но все земные и неземные красоты затмил рассудительный и немногословный любимый четырёхлетний внук Сашка, о котором она помнила везде и всегда...

Вот и удалось взять себя в руки. Она успокоилась. И только краснота глаз всё же выдавала недавнее чересчур взволнованное душевное состояние.

«Старею, что ли?» — про себя подумала Татьяна Ивановна, поскольку раньше с ней никогда такого не случалось.

При возвращении в свой родной город после долгой разлуки сердце всегда билось как-то особенно сильно. К горлу подкатывал ком так, что трудно было дышать. Голос становился как будто чужим, и тогда она просто замолкала. При виде близких ей людей всё это мигом исчезало, и она снова становилась весёлой и озорной. Но на этот раз наплыв чувств оказался слишком сильным, нервы сдали и были будто совсем оголены.

«Да нет, просто действительно измотала себя в последний месяц, отлаживая новую технологическую линию и решая свалившиеся финансовые проблемы», — успокоила она себя.

Татьяна Ивановна ещё некоторое время посидела на скамейке во дворе дорогой её сердцу пятиэтажки. Именно здесь прошло её детство. Отсюда она ушла в большую, полную тревог и забот, жизнь. Сюда же постоянно возвращается и в мыслях, и наяву.

Сейчас ей за 50, но до сих пор она помнит каждую ступеньку в своём подъезде, каждый уголок двора, мало чем изменившегося за эти годы. В последний раз она здесь была ровно 5 лет назад, когда приезжала на 70-летний юбилей своей мамы — Натальи Михайловны Бурлаковой.

Сегодняшний её приезд в Кемерово приурочен к предстоящему 75-летнему юбилею матери. Через тысячи километров она примчалась сюда, чтобы побыть с мамой, очень сдавшей за последний год. Прилетела, чтобы поддержать её и отпраздновать мамин большой праздник. Быть может, последний.

От этой горькой, страшной, полоснувшей по сердцу мысли из её глаз снова хлынули слёзы. И она уже их больше не останавливала. Поджав под скамейку по-детски ноги и уткнувшись взглядом в землю, она, не двигаясь, просидела несколько минут. Лишь иногда её тело нервно вздрагивало, но потом снова наступало оцепенение...

На этот раз Татьяна Ивановна не стала с собой тащить тяжёлые чемоданы сахалинских даров: ведь и рыбу, и икру, и морепродукты, и папоротник, и многое другое, что является своеобразной визитной карточкой сахалинцев, без труда можно купить и на материке, далеко за Уралом. Причём намного дешевле, чем на Сахалине, там, где всё это растёт и добывается. К чему терпеть неудобства в дальней дороге и тратить понапрасну деньги?

* * *

Таких женщин, как Татьяна Ивановна, сегодня встретишь не часто: хорошо разбиралась в людях, обладала редкой интуицией и умела быстро расположить к себе любого собеседника. Уверенно, с достоинством держалась на людях, и никакая аудитория её не пугала: обаяния, интеллекта, образования и красноречия ей было не занимать.

«Огонь, а не девка!» — говорили про неё, бывало, знакомые парни. Такой и осталась на всю жизнь: энергичной, боевой, решительной.

Ещё Татьяна Ивановна (если была уверена в правоте) умела настоять на своём и непременно добивалась желаемого результата. Это для неё стало непреложным правилом жизни.

Давались ей такие победы не всегда легко. Порой приходилось несговорчивых оппонентов долго убеждать, приводить немало аргументов в защиту своей позиции, настойчиво объяснять и доказывать не всегда очевидное, но единственно верное решение, которое она принимала не впопыхах, не в плену эмоций и обстоятельств, не в угоду кому-то, а на основе глубокого анализа фактов.

По-видимому, очень повлиял на характер Татьяны Ивановны парашютный спорт, которым она увлеклась ещё в молодые годы. Собрать всю волю в кулак и быть всегда предельно чёткой, не теряя контроля над ситуацией, — это прописные истины для любого, кто решил покорить небо. И заповеди парашютистов стали законами, по которым она жила.

Многие считали её слишком правильной, негибкой, бескомпромиссной. Возможно, так оно и было, и, может быть,

именно поэтому семейная жизнь у Татьяны Ивановны не сложилась, но менять себя она не планировала.

2.

Сильно волнуясь, она наконец-то нажала на кнопку звонка.

— Танечка, ты ли это? Почему не сообщила о своём приезде? — запричитала своим мягким хрипловатым голосом Наталья Михайловна. — Мы бы встретили тебя в аэропорту. Ну что ж мы стоим-то? Проходи, родная. Давай-ка свою одёжу.

— Мам, да всё хорошо, — целуя в седую голову и щёки свою состарившуюся и ставшую какой-то маленькой и худенькой мать, почти прошептала Татьяна Ивановна. — Я отлично добралась. Рейс ночной, поэтому не стала вас никого беспокоить. Да ты у нас всё молодеешь, выглядишь замечательно, просто супер! Я очень рада!..

Удивительно, но после встречи с родным и любимым человеком усталости от многочасового перелёта Татьяна Ивановна уже совершенно не испытывала. Через пару минут она в домашнем халате хозяйкой порхала по квартире, рассказывая матушке «сладкие сказки» о своём житье-бытье. Воспитав сына и дочь практически без мужа, она ни разу за многие годы в разговоре с матерью не пожаловалась на свою женскую долю и одиночество. Всё всегда у неё было хорошо и замечательно.

Несмотря на раннее утро и будний день, уже через час после приезда Татьяны Ивановны в квартире Натальи Михайловны было шумно и весело. Услышав по телефону голос любимой и единственной сестрёнки, примчался на своём джипе её брат Владимир.

Лучшего кузнеца невозможно было сыскать во всей округе. От заказов в его фирме не было отбоя. Но особенно Владимир дорожил заказами от владыки Православной церкви. Владимир мог сутками не выходить из кузницы, придумывая, а затем воплощая в жизнь свою идею, превращая замысел в настоящее произведение искусства. «Эксклюзив», как он любит повторять.

Зато потом, по выходным, мастер часами мог ходить по территории у православных храмов, а также городским паркам, скверам и улицам, взирать с любовью на свои кованые ограды, уличные фонари, замысловатые вывески на дверях контор и учреждений и мысленно их дорабатывать. Эти прогулки ему очень помогали в дальнейшей работе, привносили совершенство и новизну в создаваемые образы.

А ещё настоящей гордостью Владимира был построенный его руками собственный загородный дом. Почти 10 лет изо дня в день он жил заботами затянувшегося строительства. Не очень-то надеялся на чужих людей и везде был первым. Принимал личное участие в его проектировании, затем руководил работами по заливке фундамента, сам возводил стены, устанавливал стропила, крыл крышу.

Ему больше незачем вставать ни свет ни заря, чтобы успеть сделать массу дел и решить кучу проблем.

Но нет в его новом просторном доме доброго женского взгляда, детских голосов, а значит, нет и самого главного — домашнего тепла и уюта.

Незаживающей раной на сердце Владимира осталась его первая и единственная любовь — Маринка из параллельного класса, которая провожала его в армию, обещала ждать и исправно писать письма, но уже через год выскочила замуж за сына крупного партийного работника.

Столько лет прошло, но Владимир так и не сумел найти себе хорошего и верного друга, который бы его любил, ждал и заботился о нём. Понимал бы его так, как он понимает и чувствует свою любимую сестрёнку Таньку. Ну зачем ему этот дом? Порой ему кажется, что даже от стен, украшенных дорогими картинами, по-настоящему веет холодом.

3.

Словно и не было этих лет разлуки Татьяны Ивановны со своим городом, родными ей людьми. Как дети, возились они с Владимиром на кухне. В честь такой встречи по просьбе Татьяны они решили напечь любимых домашних блинчиков. Очень кстати оказался мёд, привезённый Владимиром.

А Наталья Михайловна смотрела на своих взрослых детей и улыбалась. На душе было как никогда спокойно, легко и радостно. Даже головные боли, мучившие её в последнее время, будто бы отпустили. И она чувствовала себя совершенно счастливой.

До юбилея оставалось два дня. Под напором Татьяны все согласились, что праздновать надо в самом лучшем ресторане города. Вот-вот должны прилететь из Москвы, Питера, Ростова и других городов необъятной России сёстры, братья, многочисленные внучатые племянники, зятья и другие родственники виновницы торжества. Двухкомнатная квартира Натальи Михайловны для такого торжества явно не подходила.

Ближе к обеду она со своими детьми впервые за последний месяц вышла на улицу. Лёгкий мартовский ветерок быстро зарумянил у Татьяны и Владимира щёки, а Наталье Михайловне придал солидную порцию бодрости и сил. Они шли по городу не спеша и радуясь не только тому, что они наконец-то вместе, но и приветливому весеннему солнцу, первым лужицам на асфальте, взъерошенным воробьям, весело щебетавшим на крыше ларька.

Посетив ресторан и сделав заказ, все трое дружно направились в один из лучших магазинов города выбирать праздничный наряд юбилярше. Доводы Натальи Михайловны по поводу того, что всё у неё есть и что незачем ради одного дня так тратиться, её взрослыми детьми, уже давно научившимися принимать решения самостоятельно, отвергались. Под их дружным и решительным напором Наталья Михайловна всё-таки согласилась не только примерить дорогое платье с пышным бантом на груди, но и посетить ювелирный салон, чтобы выбрать бусы с бирюзой, которые, по мнению дочери, должны были дополнить мамин праздничный наряд.

— Сдаюсь, сдаюсь, — как-то по-детски и озорно сказала Наталья Михайловна. — Делайте, что хотите. Вас, я вижу, всё равно не переубедишь.

— Мам, ведь ты у нас самая лучшая, поэтому всё для тебя должно быть по высшему разряду, — улыбаясь и прижимаясь щекой нежно к матери, проворковала Татьяна.

— Мамулечка, ну-ка вспомни, когда ты в последний раз отплясывала? А соседи снизу у тебя жуть какие вредные, в момент всех гостей разгонят. Так что здесь у нас без вариантов, — так же ласково, но твёрдо произнёс Владимир. — Можем мы хоть раз в жизни гульнуть так, чтоб земля задрожала?

— Да уж больно затратно всё это, — снова попыталась отстоять свою точку зрения Наталья Михайловна. Но Татьяна с Владимиром, словно не слыша последних её слов, уже решали, где взять хорошего тамаду и откуда пригласить музыкантов.

Наконец всё необходимое было куплено и заказано. И, уже выйдя из магазина, Наталья Михайловна через огромное стекло витрины увидела большую игрушечную собаку.

— Тань, посмотри, какая красота! — с восторгом вырвалось у неё. — Помнишь, у нас в старой квартире жил такой пёсик. Верным его звали. Весь двор его любил. Ну прямо как живой сидит. Когда вы у меня росли, таких игрушек не продавали.

— Да, мам, просто прелесть. Очень симпатичная собачка! А это что ещё за чудо, кажись, павлин? Смотри, какой большой и красивый, как настоящий! — Татьяна с изумлением смотрела на грациозную, яркую, выполненную из стеклянных и металлических пластин птицу, находившуюся также под толстым стеклом и с любопытством разглядывавшую покупателей своими круглыми жёлтыми глазами.

— Мам, да это просто чудо! Настоящая сказка! Таким произведениям искусства в музее только и место, — с восторгом проговорила Татьяна.

— Да, штучный товар, достойная работа! — с уважением, но сдержанно высказался и Владимир. И прочитал: «Сделано в России». Ну, порадовали, славяне. Вы видели, видели? — обратился он к матери и сестрёнке. — Наши мастера сделали!

Глаза Владимира горели, а в голосе была такая гордость за свою страну! Своим трудом, кажется, он и то меньше гордился.

— А дорогущая какая! Неужели кто-то её купит? — уже отходя от витрины, закончила разговор Наталья Михайловна.

А потом ещё долго качала головой в восторге от увиденного. Слишком уж большое впечатление произвела на неё эта чудная птица.

Только к вечеру Наталья Михайловна со своими детьми попала домой. Уставшая от многочасовой городской суеты, но очень довольная тем, как прошёл день, она с каким-то новым для себя чувством перешагнула порог квартиры. Позже она поняла, что этим чувством была гордость за своих умных, красивых, ладных и совсем-совсем взрослых детей. Не напрасно она в те трудные годы послевоенного лихолетья всё самое лучшее отдавала сыну и дочери.

Порой сутками Наталья Михайловна не выходила из цеха, делая по две нормы от плана, чтобы обеспечить свою семью всем необходимым. Не просто ей было одной воспитывать детей, но рядом с такой замечательной матерью выросли они сильными и здоровыми, выучились, получили хорошие профессии, а главное — стали настоящими людьми.

Немного отдохнув после многочасовой прогулки по шумному городу, Владимир, отказавшись от ужина в родительском доме и сославшись на дела, уехал. А мать и дочь весь вечер провели в задушевных разговорах. Внутренне они были так похожи, что понимали друг друга с полуслова. Вместе им было хорошо и уютно. Такие тихие вечера запоминаются на всю жизнь. От них веет душевным теплом и необыкновенной нежностью. И Наталья Михайловна, и Татьяна Ивановна очень дорожили такими минутами настоящего семейного счастья.

4.

Вволю выспавшись и сделав несколько телефонных звонков, Татьяна Ивановна утром следующего дня отправилась снова в город. Об истинных своих намереньях она решила никому не говорить, потому что совершенно не знала, чем закончатся её хлопоты. Путь её сегодня лежал к руководству завода, на котором без малого полвека проработала Наталья Михайловна.

Миновав проходную, уверенной походкой она шагнула в приёмную генерального директора. Через несколько минут

ожидания ласковый бархатный голос секретарши известил о том, что Виктор Борисович её сегодня примет, но поскольку через час у него важное совещание, перед которым он должен проработать только что поступившую информацию, то для беседы отведено не более пяти минут.

Сухо поздоровавшись с хозяином огромного кабинета, Татьяна Ивановна сразу приступила к главному:

— Виктор Борисович, меня зовут Татьяна Ивановна. Я дочь Натальи Михайловны Бурлаковой. Завтра у мамы юбилей — 75 лет. Мне бы очень хотелось, чтобы кто-нибудь от завода её поздравил. Ей это будет очень приятно. — И на стол директора лёг пригласительный билет на торжество.

От такого поворота событий директор как будто бы потерялся. Он предполагал, что визитёр — это очередной проситель выплаты части долга по заработной плате в связи с трудными семейными обстоятельствами либо корреспондент, которых сегодня пруд пруди. Наконец, это мог быть очередной контролёр фискальных органов, ну уж никак не дочь бывшей сотрудницы предприятия. Оценив ситуацию, после недолгого замешательства хозяин кабинета прошипел:

— Какая Бурлакова, какой юбилей? Вы что, не знаете, в каком положении сегодня находится завод? На предприятии готовится новое сокращение штатов, производство загружено всего три дня в неделю. Вы о чём говорите, любезная?

— Моя мама, Наталья Михайловна Бурлакова, всю жизнь отдала заводу. Перед выходом на пенсию работала начальником цеха готовой продукции и возглавляла профсоюзный комитет. Да она жила на работе! И не её вина, что сейчас её родное предприятие в столь бедственном положении, — твёрдо, чеканя каждое слово, давила она на молодого директора крупнейшего во всей Сибири предприятия. — Мама больна, и ей действительно будет очень приятно, если про неё в этот день вспомнят её бывшие друзья и товарищи, поблагодарят за честный труд.

— Да поймите вы, сейчас другие времена, тяжёлые. В стране кризис. На заводе уже давно нет Доски почёта. И передовиков производства тоже нет. Что такое профсоюз, мы и слыхом не слыхивали. Никого у нас сегодня нет. Есть только

одна задача — выстоять, выжить, — не сдавался директор. — Да мне даже послать к вам некого, все замы в разъездах.

— Послушайте, уважаемый. — Татьяна Ивановна подошла к директору вплотную. — Я в этом городе родилась и выросла. Это мой город. У моей мамы завтра большой праздник, и не омрачайте его своей леностью и неуважением к старшему поколению. Мне лично глубоко наплевать, где сейчас находятся ваши замы. Вот вам конверт, здесь достаточно денег. Купите моей маме подарок и вручите его. Лично. И не забудьте поблагодарить её принародно за многолетний и добросовестный труд. Вам всё понятно?

Татьяна Ивановна повернулась и пошла к выходу. В кабинете директора воцарилась мёртвая жёсткая тишина.

Очень ей не хотелось сразу возвращаться домой. И она долго ещё бродила по родному городу. Ноги как будто сами вели её куда-то вдаль от этого неприятного кабинета, непонимающего и пустого взгляда директора завода, какой-то необъяснимой и гнетущей тишины некогда процветающего предприятия.

Мысли её снова погрузились в детство. И вспомнился ей солнечный летний день. Она в ярком ситцевом платьице и в лёгких голубых сандалиях спускается по ступенькам в магазин. Она любила ходить в магазин. У неё хорошая память и зоркий глаз, поэтому мама только ей в семье доверяла это важное и ответственное дело. Таня всегда покупала именно то, что ей было велено, никогда не теряла денег и не тратила сдачу на всякую ерунду. Володька, конечно, на неё обижался. И, чтобы он не дулся, иногда позволялось и ему пойти с ней, в качестве носильщика. Но даже ему Таня ни разу не выдала своей тайны. А заключалась она в том, что когда ей очень-очень хотелось мороженого, то она при покупке сахара или вермишели и круп просила продавщицу взвесить товара на двадцать граммов меньше, очень строго следя за стрелкой весов. Недовеса дома никто никогда не обнаруживал. Но зато на сэкономленные деньги Таня покупала себе любимое лакомство и потихоньку, спрятавшись в какой-нибудь укромный уголок, тихо и медленно его съедала: ну очень хотелось сладкого, и устоять девчушка перед своим желанием была не в силах.

Вспомнив эту историю, Татьяна Ивановна улыбнулась и решила, что сегодня обязательно повинится во всём матери. А также попросит прощения и у Володьки.

5.

И вот наступило завтра.

Праздник начался с небольшим опозданием, так как рейс из Ростова из-за плотного тумана, окутавшего город, задерживался. Виновница торжества с огромным нетерпением ждала младшую сестру Светлану с детьми и внуками и просила собравшихся понять её.

И вот загремели фанфары. Миловидный молодой человек в чёрном фраке и в бабочке подкатил на тележке к столу Натальи Михайловны огромный праздничный торт, украшенный множеством тонких разноцветных свечей. Удивительно красивая, с радостной улыбкой и задорными молодыми глазами, юбилярша бойко поднялась со своего места и под громкие аплодисменты присутствующих задула свечи.

Один за другим к микрофону подходили дорогие для Натальи Михайловны люди и, волнуясь, произносили речи. Взрослые зачитывали поздравления с больших красочных открыток, ребятишки читали стихи, красивая музыка чередовалась шутками и розыгрышами тамады. Всем было хорошо и весело.

Татьяна Ивановна с Владимиром были особенно торжественны и будто светились от счастья. Их души и сердца переполняла гордость за свою самую красивую и самую лучшую маму в мире, за их дорогую мамулечку.

В центр зала к микрофону они вынесли очаровательную светло-рыжую игрушечную собачку, которая так понравилась в магазине их матери. Увидев это, все громко захлопали в ладоши в ожидании очередного поздравления. А Наталья Михайловна привстала из-за стола, широко по-детски раскрыв глаза.

— Дорогая мамочка! — волнуясь, начала Татьяна. — Посмотри, сколько людей пришло, чтобы поздравить тебя с юбилеем! А ведь это не просто гости. Сегодня в этом уютном зале собрались самые близкие и дорогие тебе люди. Сердце

каждого из них согревает негаснущий огонёк любви к тебе и огромное желание быть рядом.

Лично для меня ты не просто мама. Ты — целый мир, Вселенная. Всё, что я достигла в жизни, это твоя заслуга. Ведь ты не только дала мне жизнь. С самых первых минут ты стала для меня самым родным и незаменимым человеком. Именно с тобой до сих пор я мысленно разговариваю по вечерам, подводя итог прожитому дню. Мы связаны с тобой одними заботами и душевными переживаниями. И за это, моя родная, я очень и очень тебе благодарна. Ты самая лучшая на земле!

Мамочка, любимая! Живи долго и счастливо. Радуй всех нас своей замечательной улыбкой и обаянием, заряжай оптимизмом и огромным желанием делать добро. У тебя это, как мне кажется, получается лучше всех. С праздником! Ура!!!

— А это для тебя наш скромный подарок, — выхватил из рук сестры микрофон Владимир. — Точно такой же пёсик у нас был в детстве. Помнишь, как однажды он нам с Танькой спас жизнь. В доме ночью случился пожар, а он своим лаем разбудил всю округу. Все соседи выбежали на улицу, и только мы с сестрёнкой с испугу забились под кровать и чуть не погибли. Верный так сильно лаял и кидался в огонь, что пожарные всё же поняли, в чём дело, бросились за ним и вытащили нас. В счастливые минуты я каждый раз вспоминаю нашего Верного. Да и тебе в магазине он тоже очень понравился. Мам, когда взгрустнётся, прижми к себе этого чудного пёсика — и тебе сразу станет лучше. С праздником тебя, моя родная! С юбилеем!

Настоящий шквал аплодисментов прокатился по залу. Кто-то даже крикнул «Ура!» и «Браво!».

Но едва аплодисменты стали стихать, в центр зала вышли двое никому не знакомых людей. Все многочисленные гости с нескрываемым интересом повернулись в их сторону.

— Уважаемая Наталья Михайловна! — крепкий красивый мужчина обратился к виновнице торжества.

— Дорогая наша труженица! — звонким, хорошо поставленным голосом подхватила стройная миловидная девушка.

— Примите самые искренние поздравления с юбилеем от всего коллектива нашего завода, — продолжил гость. — Без

малого полвека вы отдали производству. На ваших глазах и с вашим участием строились новые цеха и современные линии, осваивались новые механизмы и создавалась уникальная продукция, конкурирующая с лучшими мировыми образцами. Вы — наша гордость и настоящий пример для подражания. Огромное вам спасибо за честный и добросовестный труд.

— И низкий вам поклон от тех, кто сегодня продолжает ваше дело, кто хранит традиции предыдущих поколений и приумножает богатство страны, — взволнованным проникновенным голосом, не заглядывая в бумажку, говорила девушка.

— Мы от всего сердца желаем вам, Наталья Михайловна, крепкого здоровья, мира, благополучия и долгих лет жизни, — раскрасневшись от волнения, закончил мужчина. — И в память об этом замечательном дне позвольте мне вам вручить этот прекрасный букет и приветственный адрес.

— А от профсоюзной организации нашего завода, от профкома, председателем которого вы являлись 12 лет, со словами уважения и благодарности, а также на добрую память мы хотим подарить вам вот этого замечательного павлина, изготовленного руками мастеров нашего завода. Пусть эта самая красивая и самая мудрая в мире птица принесёт вам и вашей семье удачу, достаток и благополучие.

У Натальи Михайловны от нахлынувших чувств заискрились глаза. Но она не дала своим чувствам волю, потому что непременно бы расплакалась. Красивая, строгая и необыкновенно счастливая, она вышла к своим заводчанам, расцеловала их обоих и только потом приняла дорогие подарки.

Зал снова всколыхнула волна оваций.

Но уже через несколько минут всё вокруг наполнилось весёлым шумом застолья. Гости принялись обсуждать увиденное и восхищаться оказанным вниманием, тактом и образованностью руководителей завода, не забывших своего уважаемого работника.

А Наталья Михайловна, словно царица, снова уселась на свой импровизированный трон. Со всеми вместе пригубила бокал вина. Затем обняла симпатичного, бесконечно

преданного пса Верного и самую мудрую с шикарным оперением птицу, сохранившую тепло рук её товарищей и по-особенному, с необычайной лаской и любовью, посмотрела на своих счастливых детей.

И когда яркий свет софитов сменился мягким полумраком с большим обилием разноцветных лучей и заиграла музыка, все пустились в пляс.

Татьяна Ивановна не успела ничего сообразить, как оказалась в руках галантного кавалера.

— Татьяна, простите меня за моё поведение. Я в тот день был сам не в себе — проблем накопилось невпроворот. И огромное спасибо вам за науку, за урок, который вы мне преподали. И, ради Бога, заберите свои деньги. После вашего визита я действительно осознал, что мы не имеем права забывать ветеранов. Мы просто обязаны сделать всё возможное, чтобы продлить им жизнь, чтобы каждый прожитый ими день был счастливым. Они это заслужили.

— Ну и славненько, Виктор Борисович, — улыбнулась в ответ Татьяна Ивановна. — Я тоже, как и мама, очень рада вас видеть на сегодняшнем празднике. Пойдёмте же вон к тем молодым людям, послушаем, о чём там так мило беседует мой братец с вашей симпатичной работницей.

ВАНИНА ЁЛОЧКА

Год близился к концу. Отрывной календарь на стене стал тощим, тоньше ученической тетрадки. Баба Нюра с утра оторвала ещё один листочек, бросила его в печь и принялась за пряжу. «Пока на дворе темно, попряду, — размышляла она. — К вечеру, глядишь, и рушник будет».

С завтраком теперь ей можно было не спешить. Вот уже год, как схоронила мужа. Болел он. В последнее время, считай, из больницы не вылезал. Придёт на день-два, ополоснётся в баньке, сменит бельишко — и снова на казённую койку.

Шестерых детишек нажили они. Но двое мальчиков умерли ещё грудными, так и не осознав себя на этой земле. В семье о них почти никогда не вспоминали — то ли не хотели

лишний раз причинять боль матери, то ли оттого, что эти два крошечных существа ничего не успели в своей жизни сделать — ни хорошего, ни плохого. Фотографий их — и то не было.

Остальные дети, слава Богу, росли крепкими, здоровыми, смышлёными. В 12 лет старшая, Татьяна, во время летних каникул уже не просто помогала матери управляться на ферме, а самостоятельно работала подменной дояркой. Странно, но трудолюбивых и, главное, надёжных работников всегда не хватало в совхозе. Женщины — и те в последние годы так пристрастились пить, что ради лишних ста граммов готовы всё пустить по боку: и работу, и семью. Вот совхозное начальство и шло на различные ухищрения, принимая порой на работу даже детей. Лишь бы сохранить дойное стадо.

Сейчас Татьяна далеко от отчего дома. Едва окончив школу, выскочила замуж за солдата, который вскоре и увёз её на свою родину.

Словно птенцы, друг за другом, повылетали из родительского гнезда Михаил и Любаша. Оба теперь живут в городе. Нарожали кучу детей. Но в деревню приезжают часто. Помогают матушке с огородом, когда поправят покосившийся забор, когда в доме побелят. Грех матери на них обижаться.

Словно пчёлы возле цветка, кружат в эти радостные минуты возле бабушки и внучата. «Баба Нюра, баба Нюра...» — только и слышно во дворе. А вслед за ними стали её так называть и соседские ребятишки. А потом и их родители. Молодёжь, наверное, даже фамилию её не знает. Баба Нюра — и всё тут. А ведь ей всего 58. Непосильный крестьянский труд да переживания за детей и мужа состарили Анну Ивановну Кузнецову намного раньше положенного срока.

Вращая толстыми, почти негнущимися пальцами веретено, баба Нюра мысленно разговаривала со своими детьми, дошла очередь и до самого младшего: «Ваня, как ты там? Небось забыл, как и снег выглядит, как скрипит под ногами да серебрится на ярком солнце? Ну ничего, скоро весна, а там и домой».

После Сани и Сени — Царство им Небесное — Нюра Кузнецова уже и не собиралась рожать. Но судьба распоря-

дилась по-своему. На 39-м году Бог подарил ей снова сына. Да здорового и крепкого. В честь своего отца она и назвала его. К 18 годам Иван вымахал в красивого, голубоглазого, не по возрасту рассудительного парня. После школы собирался было поступать в педагогический, но провалился на экзамене по английскому. Оно и не удивительно — в сельской школе всегда не хватало учителей, а преподавателей иностранного языка — особенно. А на следующий год Ивана призвали в армию. Сначала он служил где-то под Рязанью. А потом письма с треугольным штемпелем на конверте стали приходить из доселе не ведомой бабе Нюре страны — из Афганистана.

Постепенно мысли о сыне целиком овладели бабой Нюрой. В такие минуты она доставала из комода его письма и начинала их перечитывать. Ничем другим заниматься просто не было сил. Эти письма она помнила наизусть. Но ей очень хотелось ещё раз взглянуть на родной почерк, прикоснуться к бумаге, которую держал её сын, последыш, её опора и надежда.

«Здравствуй, дорогая мамочка!

Как ты там? Как здоровье? Часто вас всех вижу во сне. Очень соскучился по дому. Если всё будет хорошо, где-то в конце мая вернусь».

Баба Нюра перекрестилась, утёрла концом платка нахлынувшие слёзы и подошла к окну. Село уже проснулось. Ребятишки, закинув за плечи ранцы или волоча почти по снегу тяжёлые портфели, тащились в школу. Их родители в замусоленных телогрейках толпились возле конторы — ждали разнарядки. Немного успокоившись, баба Нюра вновь взяла в руки письмо.

«Служба у меня проходит нормально. За меня особо не переживай. Скоро из Союза должны прислать пополнение, будет полегче. Очень прошу, не волнуйся, если долго нет от меня писем. Здесь условия совсем не такие, как на родине. Почта может и затеряться. Но я буду стараться писать почаще.

Да, мам, а что нового в деревне? Девчонки из нашего класса, наверное, уже повыскакивали замуж. На днях вот получил письмо от Серёги Краснова. Пишет, что приезжал домой в отпуск (он «загремел» на три года в морфлот, а служит где-то возле Владивостока), но почти никого не видел, все поразъехались кто куда. Ходил в гости к нашей классной. Судя по его словам, она сильно сдала. Мне передала она огромный привет. Знаешь, мама, я её тоже часто вспоминаю. Большое ей спасибо, что привила мне любовь к книгам и вообще к литературе.

А кстати, мама, ты даже не представляешь, сколько здесь талантливых ребят. Если бы ты только слышала, какие песни они сочиняют, а потом поют под гитару! Когда-нибудь эти песни дойдут и до вас. Наши песни особенные, они не похожи ни на какие другие. В них всё: и тоска по родным местам, и тревога о близких и любимых людях, и обида на свою судьбу, и ненависть к самому себе, к своим слабостям.

Мама, это очень грустные песни, но без них нам было бы ещё труднее. Собираясь небольшими компаниями и распевая эти песни, мы как бы очищаем свои души. Тебе всё это сложно понять, потому что ты, в отличие от нас, святой и наивный человек. Ты веришь в добро и вершишь добро. А здесь совсем другая жизнь, другие законы.

Мама, я тоже стал баловаться стихами. Но о войне мне писать совсем не хочется. Я только здесь понял, как дороги мне деревня, сельский жизненный уклад и всё такое прочее. Вот почитай (начало, правда, я решил переделать, поэтому напишу пока без него).

.....

И в десять лет со старшим братом
Я завершал искусно стог.
Не расставался с самокатом,
Бывал не по-ребячьи строг.

Мог приготовить щи и кашу
И наколоть для печки дров.
Но обожал на ферме нашей
Доить заждавшихся коров.

И наблюдать, как колосится
За речкою тугая рожь,
Которая так часто снится —
Сельчанин, ты меня поймёшь.

Я в чернозём, а также в нивы
От пят до кончика волос,
Как эта жгучая крапива,
По-дедовски корнями врос.

Ну, что скажешь на это? Думаю, тебе эти строки придутся по душе.

На этом своё письмо буду заканчивать. Ещё раз прошу, не волнуйся, не переживай за меня. Береги себя. Не надевай на босу ногу калоши, когда выходишь во двор.

Передавай огромный привет моим школьным друзьям и подругам, Толику Семёнову — часто вспоминаю, как с ним шухарили в праздники, — а также соседям. Жди меня, и я вернусь! СССР — ДРА. ДМБ-84.

До свидания. До встречи. Сержант Советской Армии Иван Кузнецов».

Так и не притронулась больше этим утром баба Нюра к веретену. Наверное, целый день просидела бы у окошка, думая свою, только ей понятную думу. Но неожиданный стук в дверь напугал её и мгновенно вывел из оцепенения. То была соседка, баба Поля.

— Ивановна, жива, што ль?

— Жива, слава Богу.

— А я гляжу, время к обеду подходит, а у тебя ишо труба не дымится. Думаю, не случилось ли чего?

— Да полно тебе, Сидоровна. Сказала же, всё хорошо.

— А почему печь не затопляешь, холод ведь стоит в избе?

— Ужо растоплю. Письма вот Ванины перебирала, да и забылась малость. В последнем вот, на неделе принесла почтальонша, пишет: мол, скучаю по дому, но виду командирам не показываю. Учителку свою добрым словом вспоминает. В мае обещался приехать уж насовсем. В общем, хорошее

письмо, обстоятельное, такое ласковое. Последыш — он и есть последыш. Эх, Ваня, Ваня...

Странное дело, но этого своего последыша баба Нюра никогда не называла Иваном или там ещё как — Ванькой, Ванечкой, Иванушкой. Только Ваней. Как письмо от него получит, бежит к соседке: «Сидоровна, чуяло ведь моё сердце, что сёдня от Вани письмо принесут. И точно. Смотри, какое толстое». А если уж по двору пойдёт, не бегом, не по делу какому, а просто так — от бани до калитки, от калитки к поленнице, по привычке, посмотреть, всё ли на месте, не набедокурили чего мальчишки, то обязательно ступнёт два-три шага и остановится: «А вот эту скамеечку Ваня смастерил». Или: «А крыльцо в избу Ванины руки починили. Старое-то совсем было худое сделалось».

Но особенно долго в такие минуты баба Нюра задерживалась у деревьев, посаженных её младшим сыном. Классе в третьем-четвёртом тогда он учился. Впрочем, правильней было бы сказать, у дерева. Из пяти ёлочек сейчас осталась только одна, та, что стоит почти под самыми окнами. Остальные кто-то год назад срубил, в самый канун новогодних праздников. Как увидала баба Нюра обрубки, торчащие из снега, так и повалилась на бок. Ноги сами отчего-то подкосились, в глазах потемнело. Больше ничего она не помнит. Ни как приезжала скорая помощь, ни как несколько суток лежала под капельницей в районной больнице. Врачи потом объяснили, что произошло это от сильного нервного истощения. Прописали кучу витаминов, таблеток, а ещё рекомендовали полный покой.

И вот снова приближался самый любимый в народе праздник — Новый год. Всю последнюю неделю уходящего года, как правило, сельчане ложились спать позже обычного: кто вместе с детьми колдовал над маскарадными костюмами и ёлочными украшениями, кто лепил пельмени да варил холодец, кто гнал самогон.

Начиная с 25 декабря баба Нюра решила вовсе не ложиться спать, стала дежурить у ёлочки. Теперь важнее занятия для неё, чем сохранить Ванину ёлочку, просто не существовало. Ей нисколько не боязно было самой встать под острое лезвие

топора, только бы не упало ни одной иголочки с этой зелёной пушистой красавицы, посаженной её сыном.

Первую ночь баба Нюра отстояла благополучно. Правда, немного устала и озябла. Когда рассвело, она зашла в дом и растопила печь. До самого обеда не могла согреться. Попив горячего чаю с малиновым вареньем, уснула. А когда проснулась, поняла, что захворала.

«Нет, мне сейчас нельзя валяться, — убеждала она саму себя. — Мне же вечером опять дежурить. Я должна сохранить Ванину ёлочку».

Но сил не становилось больше. Почти в бреду баба Нюра встала с постели, накинула на голову шаль, надела валенки и пошла к соседке.

— Сидоровна, выручай, пригляди за Ваниной ёлочкой, чтобы, не ровён час, кто не срубил. Не могу я, опять захворала.

— Вот что, Ивановна. Сама-то я стоять на морозе всю ночь не могу, тоже ведь хворая. А вот кобеля своего к твоей калитке привяжу. Ни один фулиган и близко не подойдёт. Ступай, отдыхай.

— И на том спасибо.

Придя домой, баба Нюра включила телевизор и тут же задремала. А проснулась, когда на дворе было уже светло и шумно. Она сразу же бросилась к окошку. Вместо стройной зелёной красавицы из сугроба торчал аккуратный жёлто-белый пенёчек. Ни собаки, ни её следов рядом не было. Только открытая настежь калитка и золотые крупинки на снегу. По-видимому, соседка всё-таки забыла привязать собаку к калитке. С пожилыми людьми такое случается.

Ещё некоторое время баба Нюра стояла, с ужасом глядя на происшедшее. Она понимала, что подобный удар ей навряд ли удастся пережить. Но продолжала верить в чудо и старалась из последних сил крепиться. Ей так захотелось заплакать, но слёзы словно высохли. Так стало больно глазам, что впору было закричать. Но вместо крика из горла с большим трудом вырвался только шёпот. Будто кто-то обручем сдавил грудь. Стало невмоготу дышать. Баба Нюра повалилась на пол и уже больше никогда не встала.

Много было пролито слёз над гробом и сказано немало хороших слов об усопшей. Но никто: ни Сидоровна, ни Толик Семёнов, сынок главного зоотехника совхоза, спиливший все пять ёлочек, ни даже врачи — так и не поняли, отчего же умерла баба Нюра.

А вскоре пришла похоронка и на Ивана. В самый канун Нового года вертолёт с ранеными на борту был сбит. Контузия и лёгкое ранение для Ивана обернулись смертью.

Схоронили Ивана рядом с матерью.

* * *

Недавно я вновь побывал на кладбище. Вдоль оградки, у изголовья, в строгом зелёном сарафане гордо стояла большая ёлка, а рядом ещё две, поменьше. Ту, большую, у могилы отца посадил перед уходом в армию Иван. А эти, что поменьше, похоже, пошли уже от неё. Природа оказалась намного мудрее человека, будто боясь, что порвётся невидимая нить между родными душами.



Анна Дьяконова

г. Пятигорск, Ставропольский край

МНЕ ПРИСНИЛАСЬ МАМА

Мне приснилась мама. Блинчики пекла,
На столе лишь лампа — свет от фитиля.
Печь горела жарко, треск был от огня,
Вкусная картошка, крынка молока.

Разливали спешно в кружки тот нектар,
Аппетит наш детский медлить не давал.
Дружно вместе жили, смех звучал всегда,
Очередь по кругу к младшему текла.

Возле печки блюдце с вкусным молоком,
Кошка мчится быстро, ужин ей готов.
Куры на насесте квохчут без конца,
Пёсик, наш дружочек, дремлет у крыльца.

Живность отдыхала — сыты все уже.
Двор наш освещался ночью при луне.
Рано на рассвете прокричит петух,
Нас он не разбудит на своём посту.

Мама встанет зорькой и растопит печь,
Каши сварит вкусной (и варенье есть),
Чай на травах разных, аромат знаком,
Всем разделит пайку — сахар был куском.

Щипчики кололи мельче порцион,
Сладкого хотелось (тут для нас заслон).
Не просили больше — не пришёл наш срок,
Старший топал в школу, брал и узелок.

В детстве побывала: маленькая я,
Вся в заботах мама, двор наш и родня...

02.12.2017

Борис Жилов

д. Буково, Луховицкий район, Московская область

ВОЙНА

Вальс, как прощальная мода,
В парках, садах отзвучал.
«Рок» 41-го года
В каждую дверь постучал.

В шоке страна и столица:
Без объявленья войны
Хлынули полчища фрицев
К самому сердцу страны.

Крик матерей и набаты —
Будни страшнее, чем сны.
Спешно ковались в солдаты
Братья, отцы и сыны.

Все они канули в вечность —
Жертвы великих побед,
Имя которым — беспечность
Грозных вершителей бед.

Хлынул дождём похоронок
Родины клич боевой.
В свете лампад у иконок
Вдовий неистовый вой.

Что нам несчастья и беды,
Что нам до жизни иной,
Коль нет цены для победы,
Значит — любою ценой.

1969 г.

Михаил Забелин

г. Приволжск, Ивановская область

ДУША БАБОЧКИ

Душа, как бабочка, перелетает с одного цветка на другой...

I

Мне было десять лет, когда я увидел её впервые. Тогда я ещё не мог понять, что это она. Я даже представить себе не мог, что она пришла только ко мне и останется со мной навсегда. Я ещё не понимал, что она предназначена мне, а ей предназначено любить и страдать вместе со мной, во мне самом.

Был тёплый, нежный южный вечер. С моря тянуло прохладой, ненадолго прогоняющей подступающую душную ночь. Я сидел на маленькой скамеечке и наблюдал за взрослыми.

В Феодосию мы приезжали уже в третий раз, и в это лето в том же доме собралось много наших родственников и знакомых.

Во дворе над головой горел фонарь, и когда я смотрел на него, мне казалось, что он вот-вот оторвётся и уплывёт вверх, в темноту звёздной ночи, туда, где висит луна. Фонарь высвечивал круг, посередине которого стоял стол, а за границей яркого света — чернота. Там страшно. Там глубокий колодец, из которого, если упасть, не выберешься никогда, и дощатый туалет в конце участка, куда ночью я не ходил, потому что он напоминал мне истории о синих руках, вытягивающихся из-под земли и хватающих всех, кто осмелится к ним приблизиться.

Я сижу на скамеечке, ещё не подошло время отправлять меня спать, и просто смотрю вокруг. Я поднимаю глаза и вижу усыпанное звёздами небо. Я знаю созвездия, папа называл и показывал мне их: вот Орион, вот Большая и Малая Медведицы, вот Полярная звезда, вон Млечный Путь. Я сижу на поляне фонарного полнолуния, и мне уютно и спокойно. Мужчины собрались за столом во дворе, выпивают понемногу и играют в преферанс. Женщины разошлись по комнатам, застелили постели и ждут.

Большая серая ночная бабочка села мне на руку и замерла. Я взмахнул рукой, она отлетела и снова припорхнула ко мне. Она будто не замечала меня. Мне стало интересно: такая приставучая, такая большая и, несмотря на бледное одеяние, такая красивая. Она будто играла со мной: то отлетит, то снова приклеится к моей руке. Десятки её подруг кружились вокруг фонаря. Она тоже улетала туда, на свет, стучалась о стекло, а потом возвращалась ко мне. Мне понравилась эта игра, и я пошире раскрыл ладонь. Мне показалось, что она очень доверчивая, нежная и не боится меня.

Я не хотел её убивать. Просто сжал кулак, сам не знаю почему. Она сморщилась и упала на асфальтовый двор. И умерла. Уже на следующий день я забыл о ней.

II

Мне было двадцать лет, когда я познакомился с Машей. Мы сидели с ней в маленьком кафе на Пушкинской площади и ели мороженое, а я читал ей стихи по-французски. Она не понимала ни слова, и я тут же переводил. Я учился на переводчика на третьем курсе, она — на первом курсе педагогического факультета. Я изучал французский, она — немецкий. Я смотрел на неё с вожделением, она на меня — с трепетным восторгом.

Мы встречались каждый день. Была зима, хрупкие снежинки таяли на её щеках. Я провожал Машу домой и тихонько нашёптывал ей на ухо: «Tombe la neige, tu ne viendras pas ce soir. Падает снег, ты не придёшь сегодня вечером...» И чувствовал её близкое дыхание, готовое вылиться в поцелуй, и понимал, что она уже тает в моих объятиях.

* * *

Мы стали любовниками. Я звал её: «Душа моя, душенька», — а она откликалась: «Мой любимый, мой единственный».

Ссора налетела, как облачко. Я просто приревновал её на одной вечеринке. Она пулей выскочила из этой чужой квартиры, я за ней. Не знаю, откуда в столь позднее время вынырнула эта машина, она сбила Машу. Роковое стечение обстоятельств. Я склонился над ней и обнял ещё тёплые, но уже безжизненные плечи. Она, как бабочка, затрепетала, потянулась мне навстречу... и умерла.

III

Мне тридцать лет. Я влюблён. Её зовут Ира.

* * *

Андрей встретил меня возле метро, обнял, поцеловал и подарил цветы. Я была счастлива, я любила его. В этот день он пригласил меня в гости к своему приятелю. Мы с ним вечно кочевали от его приятелей к моим приятельницам. У него были жена и сын, у меня — муж и дочь. И только наши друзья выручали нас, предоставляя свои квартиры для наших свиданий и любви.

В этот раз он мне сказал:

— Это мой приятель Валера. Он зубной врач. Я к нему иногда хожу лечить зубы. Обычно он меня принимает последним, и мы вместе идём куда-нибудь в кабак. Он сейчас должен подойти. Он недалеко живёт. Хочешь, я тебе его опишу, и тогда ты сама его узнаешь.

Я кивнула.

— Он здоровый мужик, интеллигентный, но немного грубый. Руки огромные — как у мясника.

Я тут же представила себе Валеру, ковыряющего своей мясницкой лапой у меня во рту, и мне стало не по себе.

* * *

Ира всегда появлялась неожиданно и стремительно. Она каждый раз словно вылетала из толпы навстречу моим объятиям. На этот раз она была в тёмном костюме, который ей очень подходил. Юбка обтягивала точёные ножки, сочетание чёрного пиджака и белой блузки, расстёгнутой на три пуговицы и слегка приоткрывающей грудь, подчёркивало стройность фигуры и оттеняло ее зелёные, ведьмины глаза, которые я так любил.

* * *

Было начало осени и ещё тепло. Для нашей встречи с Андреем я надела костюм, который ему очень нравился: приталенный пиджак, короткая юбка и белая блузка с длинным воротником. Он сердился, когда я опаздывала, поэтому я собиралась и одевалась задолго до выхода. Перемерила много костюмов и платьев, сначала хотела показаться ему в чём-то новом, а потом решила: надену то, что ему по нраву. Ведь он такой: что-то не так — промолчит, но я же сразу почувствую — чем-то не угодила.

Я стояла, прижавшись к нему, подхватив его под руку, вглядываясь в прохожих. Прямо на нас шёл огромный мужчина лет сорока, распирающий мышцами ткань рубашки, с руками как у мясника.

— Он? — спросила я.

— Он, молодец, угадала.

Я никак не ожидала от этого бугая такой галантности. Он раскланялся, даже наклонился, как мне показалось, чтобы поцеловать мне руку, но сдержался. В руке у него был большой и, видимо, тяжёлый кожаный портфель. Я ещё подумала: наверное, медицинские инструменты или лекарства всегда с собой носит.

Когда мы вошли в квартиру, в прихожей нас встретила миловидная беловолосая девушка. Все вместе мы прошли в комнату, и Валера сказал:

— Лена, Андрей, Ира.

После чего он водрузил на стол заветный портфель и раскрыл его. Вместо медикаментов в нём оказалось семь ровно стоящих в ряд бутылок водки. Он их торжественно вынул и произнёс:

— Скромно, по-ленински.

А потом добавил, как бы извиняясь, что так мало принёс:

— Сюда входит ровно семь бутылок, больше не помещается.

Я поглядела на Валеру с уважением.

— Лена, — повысил голос Валера, — у нас гости. Иди на кухню, приготовь что-нибудь.

Лена молча и послушно пошла на кухню.

— Валера, а кто она? Я её раньше у тебя не видел, — спросил Андрей.

— Это Лена, мы вчера с ней познакомились.

* * *

Я уже начинал жалеть, что познакомил Иру с Валерой. У него, помимо рук зубодёра, было четыре жены, среди них — одна известная поэтесса и одна француженка. Он с ними поочередно жил, а потом разводился. Были ли у него дети и сколько, я никогда не спрашивал.

Мы сели за стол и скромно, по-ленински, выпили водки. А потом Валера сказал:

— Лена, ты помнишь, мы собирались пойти погулять?

И только тогда мы с Ирой наконец остались вдвоём.

* * *

Два года спустя мы расстались. Она меня бросила и вышла замуж за Валеру, а ещё через год они уехали жить за границу. Или это я её бросил и отправил куда-то за границу, подальше от себя? Или убил её из ревности? Нет, я её не убивал. Надеюсь, она жива и счастлива где-то. Пусть она будет той бабочкой, которую я отпустил, и улетит далеко отсюда. Там ей будет спокойнее.

IV

Когда мне было сорок лет, я встретил девушку на двадцать лет моложе меня и стал с ней жить. Её звали Марина.

Однажды летом мы поехали с ней в Феодосию, туда, где всё начиналось, туда, где в первый раз умерла моя бабочка. Всё возвращается на круги своя, я снова вернулся в свой фонарный круг — в тот же двор.

Марина будто прилепилась ко мне. Не знаю, почему, но в Феодосии, на юге, где приморский берег, устеленный телами отдыхающих, так и источает похоть, Марина была скромницей. Какой бы она ни была в Москве, здесь не отходила от меня ни на шаг. Мы не расставались ни на минуту ни днём, ни ночью.

Мы поселились в маленьком домике, в котором, кроме двух узких кроватей, шкафа и тумбочки, ничего не было, но нам этого хватало. Всё чаще она говорила мне:

— Андрюша, не уходи от меня сегодня ночью.

Тогда я крепче обнимал её и нежнее целовал, а когда мы засыпали на узкой кровати, то переплетались, наконец, в единое целое и становились одним человеком.

А утром шли на пляж. Марина несла свой надувной матрас, а я сумку. Мы плыли на камни, за сто метров от берега перерезающие грядой море, а потом пили пиво и бездумно валялись на нашей подстилке часов до трёх. Для Марины море было самым прекрасным в жизни. Марина — морская моя, я всегда восхищался тем, как она соответствовала своему имени.

Когда мы шли на море, Марина одевалась по здешней моде — купальник, а снизу подпоясывалась какой-то марлей. Даже не знаю, как её назвать, мы её здесь и купили: что-то лёгкое и прозрачное. Она обёртывалась вокруг талии, как у африканских женщин, и ничего не прикрывала, а наоборот, показывала. Наверное, для этого женщины и носили эти покрывала. Марина бросала в набегающую волну свой матрас, забиралась на него и плыла к камням, я за ней. Потом мы оставляли матрас на берегу, и она то, как акула, с разбега ныряла в волну, то, горячая от жарко-

го солнца, стояла по колено в воде, а я уже плавал вокруг неё:

— Ну, заходи же в воду.

— Не хочу. Вода мокрая и холодная.

Тогда я бросался к ней, обнимал её влажными руками и затаскивал в море. Она визжала, отталкивала меня, а потом уже в воде сама приставала ко мне, ныряла, стягивала под водой с меня плавки, выныривала и говорила:

— Попался? Вот теперь ты никуда не денешься от своей акулы.

Или обнимала, прижимала к себе и целовала солёными губами:

— Бегемотик мой дорогой, поплыли до камней.

Мы лежали на горячем песке, повернувшись спиной к солнцу, солнце жмурило нам глаза, и, уставшие от купания, но не от моря, мы отстранялись от окружающего мира и дремали, закрыв глаза, ощущая рядом теплоту и запах родного тела.

Когда под марш «Прощание славянки» поезд тронулся в Москву, Марина прижалась к окну и смотрела на море, пока оно не скрылось совсем.

— Как мне не хочется уезжать отсюда, — сказала она.

В Москве Марина мне вдруг сказала:

— Андрюша, я хочу от тебя родить ребёнка.

* * *

Она не родила мне ребёнка. Вскоре после приезда в Москву она заболела и через год умерла.

V

Мне сказали, что я чуть не убил свою внучку, такую маленькую и беленькую, как бабочка. Это неправда. Я просто взял её в свои объятия, а она распахнула ручки. Как крылья.

Мне пятьдесят лет, и теперь я живу здесь — в сумасшедшем доме, в отдельной палате.

Я лежу один, меня никто не беспокоит, время остановилось. Я много думаю о прожитом. Как странно: теперь я вспоминаю не своих детей и внуков, а женщин, которые были у меня, которых я любил. Я думаю о них — моих бабочках — или о моей душе: это одно и то же. Может быть, я слишком сильно любил, может быть, чересчур сильно прижимал их к себе, поэтому они умерли. Мне кажется, что это я их всех убил. Мне кажется, что я причастен к их смерти, потому что любил их. Или моя любовь, как гниль, несёт смерть? Почему так? Почему я всем приношу несчастье? Я всегда считал себя добрым человеком. Почему же?

В меня влюблена медсестра. Её зовут Люба. Она приходит иногда ко мне по ночам. Но когда в ночной тишине мне в мозг иголками впиваются шёпот и шорохи, и голоса моих любимых, я начинаю бояться и за себя, и за неё. Я боюсь, что однажды в порыве страсти сожму её, как бабочку, и прошепчу в последний миг: «Прощай, моя душа, прощай».

ВОСПОМИНАНИЕ О ЖИЗНИ

Боль ушла. Остались мысли и воспоминания. Они выплывали из закоулков памяти и превращались в слова. Обращаться было не к кому, и слова ложились на бумагу. Иногда казалось, что это последние и главные слова и поэтому они так важны. Но это только казалось. Ведь слова были теми же, что и тысячи произнесённых до этого слов, а мысли — похожими на тысячи чужих мыслей. Разница заключалась в одном: это были мои слова и мои мысли. И в них хранилась лишь моя жизнь.

* * *

Длинный коридор. Здесь можно кататься на велосипеде. Комнаты за стеклянными дверьми. Соседский мальчик Вася во дворе. Молоко из-под коровы. Старинная крепость. Странное название города — Нарва. Папа, мама, сестра, летом запах травы, зимой — маминой шубы.

Неторопливый поезд. Коридор с выпрыгивающими стульчиками. Деревья и поля за окном. Станция с гипсовой вазой посреди цветника. И снова поезд.

Поезд пахнет гарью, маслом, дымом. Почерневшие шпалы под колёсами впитали эти запахи и напоминают о них на каждой остановке.

В купе уютно. Стеклянные стаканы с ржавой полосой в посеребрённых подстаканниках звенят ложечками под стук колёс. Мерный перестук, словно шаги по ступеням, убаюкивает и превращается в долгий спокойный сон.

Теперь мы живём в Москве у бабушки. Комната перегорожена ширмой. В щёлку мы с сестрой смотрим поздно вечером, когда уже пора спать, телевизор. Посреди комнаты стоит старинный дубовый шкаф под потолок. В углу фикус в горшке. Иногда приезжает из Ленинграда дядя Игорь, большой, как этот шкаф, и привозит торт с шоколадными зайцами по углам. Папа садится за пианино и играет вальсы.

В двух других комнатах обитают наши соседи. Ещё одна комната пустая, и я там один играю в солдатики. В этой комнате живёт гулёна Галя, так её называют, и когда она изредка заезжает, я норовлю посмотреть ей под юбку. Она ругается, но, кажется, не зло. Умывальник на общей кухне, и по утрам я там чищу зубы зубным порошком.

Зимой во дворе мы играем в снежки, а летом в ножички. За двором стадион. Туда нас не пускают. Во время войны там взорвалась бомба, воронка ещё осталась, и говорят, что есть и неразорвавшиеся бомбы и снаряды.

Утром перед домом собрались все соседи. Хоронили дядю Васю. Он сгорел от пьянства. Дядя Вася спокойно лежал в открытом гробу, а на лбу у него была повязка. Потом замычали трубы и зазвенели литавры, и дядю Васю унесли.

По снегу мы с друзьями катаемся с горок. Ребята сказали, что у меня руки синие и я их отморозил. Они положили меня на санки и повезли домой. Мне было не больно, но горько, что теперь я останусь без рук. Дома мне мама сказала, что окрасились варежки, поэтому руки посинели, так что всё

в порядке. Мне стало стыдно, что меня везли на санках, как инвалида.

С мамой мы гуляем в парке, и мне приятно бегать за ней и убегать от неё. Я катаюсь с горок, а потом утыкаюсь в мех её шубы.

Я самый маленький в первом классе и стою под буквой «А», где нарисован арбуз. Портфель пахнет клеёнчатыми обёртками тетрадей и учебников, и этот запах обрекает снова идти в школу. За партой мы сидим вместе с Таней Лариной. Она худенькая, подвижная, черноволосая. Кажется, я влюбился в неё.

Родителям дали отдельную квартиру, и мы переехали в другой район. Теперь я учусь в новой школе. Бабушка провожает меня каждое утро, и мне стыдно и неудобно перед одноклассниками.

Мой школьный друг, Петя Дроздов, приглашает меня к себе. Нам уже по четырнадцать, и мы чувствуем себя взрослыми. Из Абхазии приехал его брат и привёз бутыль вина. Я пью и не пьянею. А потом не могу подняться.

Мы идём классом в поход и едем на электричке. Одна из наших девочек встаёт, и вдруг я понимаю, какая у неё красивая попа.

Мы отмечаем окончание школы и собираемся у кого-то. Сквозь лучи солнца я вижу Валю в белом платье, одноклассницу, которую раньше не замечал, и понимаю, как я её люблю и хочу. У нас с ней, конечно, ничего нет и не будет.

Должанка. Азовское море. Мы едем с моря на машине хозяев, у которых остановились на месяц, а Надя сидит рядом и трётся ногой о моё колено. По радио передают чемпионат мира по футболу: Пеле, Эйсебио, — но мне уже не до футбола. Надя живёт в том же дворе, и мы вместе ходим на море купаться. Я — с родителями, она — одна, ей восемнадцать. Я стою в плавках перед зеркалом.

— Хорош, хорош.

Это Надя.

В комнате душно, и я сплю во дворе. Однажды ночью она приходит ко мне.

— Пойдём погуляем.

Накануне нашего отъезда она плетёт бусы из ракушек.

— Это мой подарок тебе. Чтобы ты не забыл меня никогда.

После первого курса института я еду отдыхать в Крым, один. На перроне меня провожают родители.

— Ты что, куришь?

— Да, курю.

Я чувствую себя самостоятельным и уверенным.

В институте нас посылают убирать с полей картошку. Это прекрасное и романтичное время. Мы лежим на полатях с Таней, оба одетые, и чуть-чуть касаемся друг друга. В комнате галдят и разливают по кружкам грог. Тушится свет, зажигаются свечи, а по радио кто-то находит музыку Баха.

Новый год. Подмосковье. Я влюбился. Её зовут Валя. Она худенькая и стройная. Мы обнимаемся и целуемся — и ложимся в постель. А наутро она мне говорит, что через несколько дней у неё свадьба. Видимо, я никогда не научусь понимать женщин.

Летом в стройотряде отмечали моё двадцатилетие. Я учился на третьем курсе, и меня уже не призывали на эти мероприятия. Я поехал туда по доброй воле за первокурсницей Наташей. Кто-то уже благополучно упал с лестницы, кто-то с кем-то уединился, Наташа исчезла. Она целовалась во дворе со своим однокурсником. Так растаяла ещё одна моя мечта.

Звонок разбудил меня в пять часов утра. С тех пор я боюсь ранних звонков. Умерла моя бабушка.

* * *

А потом закрутился-завертелся водоворот исчезающих лет, от которых в памяти осталось немного: жаркие страны, чужие квартиры и женщины, чьих лиц уже невозможно разглядеть. Не увидеть мне уже и себя в пустыне этого долголетия. Может быть, потому что пустыня всегда однообразна, тосклива и бесконечна. Была работа, были жёны, были дети. Жёны разошлись, дети ушли. Старший уехал, младшая не хочет со мной общаться.

Вот и всё, что я помню о своей жизни.

* * *

Жизнь прошла. А я будто навсегда задержался на той незнакомой станции с гипсовой вазой посреди цветника.

ВРЕМЯ СОБИРАТЬ КАМНИ

Время разбрасывать камни, и время собирать их.
Экклесиаст

Мне было сорок пять лет, и даже седина ещё не посеребрила мою бороду, но неожиданно ударил бес в ребро. Я влюбился в совсем молодую девушку. Она была моей студенткой. Наверное, есть всего две профессии на свете, которые заранее предполагают влюблённость с одной или с другой стороны и очень редко — взаимную любовь. Это отношения врачей и медсестёр и преподавателей и студенток.

Я обратил внимание на её глаза, когда она училась на первом курсе. Я впервые пригласил её в ресторан, когда она была третьекурсницей. Мы поженились, когда она заканчивала четвёртый, а в конце пятого она уже носила моего ребёнка. Её звали Лиля, и она была замечательной любовницей.

К этому времени у меня был взрослый сын, он уже жил своей семьёй, и маленькая дочь от второй жены, с которой мы виделись редко.

Дальше всё было до боли банально. Моя молодая жена сошлась с итальянцем и уехала жить в Италию, оставив мне на память о себе нашу дочку — Вареньку.

I

Через неделю Ивану Васильевичу должно было исполниться шестьдесят лет.

Варенька готовилась к этому дню больше, чем её отец.

— Папа, а кого ты пригласишь на свой юбилей?

— Никого, Варенька. Мы с тобой его отпразднуем вдвоём. Ты испечёшь праздничный пирог?

— Конечно, испеку, папа.

— Вот и хорошо. Я куплю шестьдесят свечей, мы их поставим в пирог, а потом я их задую, и мы с тобой сядем за стол.

— Папа, а почему ты не хочешь пригласить кого-нибудь со своей работы?

Варя запрыгнула к отцу на колени, обняла его и заглянула в глаза.

Он любил эти мгновения близости со своей дочкой. Он любил, когда ещё совсем маленькой она вот так же запрыгивала к нему на колени и что-то говорила ему, а он её обнимал и в ответ рассказывал разные истории.

— Да ну их, Варенька. Я их каждый день вижу. Надоели они мне.

— Я же знаю, у тебя есть друзья.

— Ты помнишь дядю Сашу?

— Да, я тогда была совсем маленькой. Он приходил к нам в гости и всегда дарил мне игрушку. Он ведь умер?

— Он умер, Варенька. А больше у меня друзей нет. Соседи или дяди с работы, которые к нам иногда заходят, это не друзья, а просто знакомые. Я не хочу их приглашать.

— Но ведь, кроме меня, у тебя есть ещё дочка, сын и внук, — продолжала настаивать Варя.

— Варенька, ты у меня уже большая девочка, и давай говорить по-взрослому. У них у всех своя жизнь, и я не хочу вырывать их из дома только для того, чтобы они меня поздравили. Мы с тобой отметим мой день рождения вдвоём. Ты что-то приготовишь, у тебя отлично получается, и никто нам больше не нужен.

II

На следующий день Варя позвонила Лене, своей сводной сестре. Лена была на три года старше неё, и Варя до сих пор помнила, как отец, в первый и в последний раз, привёз её к ним в дом. Варе тогда было пять лет, а Лене восемь. Сначала все сидели за столом, и Лена снисходительно поглядывала на неё и даже поучала, как держать вилку. А потом папа и Ленина мать вышли в другую комнату, и стало понятно, что они ругаются. Варя до сих пор не могла забыть, как Ленина мать кричала сквозь слёзы:

— Зачем ты её сюда привёз?

Побледневший отец вбежал тогда в комнату и почти прокричал:

— Одевайся, дочка, мы уезжаем.

С тех пор Варя не видела ни Лену, ни её мать.

А год назад, когда Варе уже исполнилось четырнадцать лет, она вдруг обнаружила номер их телефона. Это произошло случайно. Папы не было дома, а ей что-то вдруг понадобилось найти в ящиках шкафа. И неожиданно на глаза попалась потрёпанная записная книжка. Она никогда не рылась в бумагах своего отца, даже желания такого не возникало. Но теперь любопытство взяло верх: «Какая древняя записная книжка», — и она машинально пролистала её. Палец остановился на букве «д», и вдруг она увидела номер телефона и слово «дочка». Всё ещё не осознавая, Варя подумала: «Это же я — дочка, а телефон не наш». И тут она поняла. Она вспомнила, как они давным-давно приезжали с отцом в незнакомую квартиру и там за столом сидела девочка. «Господи, это же моя сестра, а мы с ней даже не видимся». И тогда в памяти всплыло имя — Лена.

В тот же день, втайне от отца, Варя ей позвонила. Она боялась, что трубку возьмёт Ленина мать, и уже приготовилась сбросить номер, но трубку взяла Лена — она это поняла по голосу.

— Лена, привет.

— Привет, а ты кто?

— Я Варя.

— Я не знаю никакую Варю.

— Я Варя, твоя сестра.

По долгой паузе в телефонной трубке Варя поняла, что сказанное прокручивают в голове и пытаются осмыслить.

— Какая сестра? — выдохнула наконец трубка.

— Твоя сестра, по отцу. Меня зовут Варя.

И опять тишина: то ли воспоминание о той единственной их встрече, то ли непонимание, то ли переваривание информации.

— Ну, помнишь? Мы с тобой виделись один раз, у вас дома. Я тогда ещё была совсем маленькой.

Видимо, на том конце телефонного провода что-то расклинило, потому что Ленин голос сказал:

— Ты где живёшь? Давай через два часа встретимся в кафе, — и назвала место и адрес.

Они, как шпионки, описали, кто и во что будет одет, иначе не узнали бы друг друга. Встретились холодно и сели за столик. Лена, как старшая, заказала два сока.

Они долго молчали, рассматривая друг друга.

«Какая она красивая, — подумала Варя. — Совсем взрослая. Какие у неё замечательные голубые глаза, какие густые, светлые волосы. Похожа на папу. Я по сравнению с ней замухрышка. Только смотрит она на меня уж очень строго и недоверчиво».

Лена разглядывала Варю в упор и думала: «Хорошая девочка, симпатичная и, наверное, очень самостоятельная. Она же рыжик, рыженькая. Ещё маленькая, но хочет казаться взрослее. Сколько же ей лет? По-моему, у нас разница года в три-четыре». И Лена вспомнила тот давний вечер, когда к ним в гости приехал папа с маленькой девочкой, а она учила её правильно держать вилку. Она сама тогда была ещё маленькой. После этой встречи Варю она больше не видела, а папу — всего несколько раз. Он приезжал, обнимал её и целовал, а потом выходил с мамой в соседнюю комнату, и каждый раз они там ругались. Потом он стал приезжать реже, но ещё часто звонил и расспрашивал по телефону об успехах в школе и наконец совсем исчез из её жизни. «Варя — красивое имя. И что ей, интересно, надо?»

— Послушай, девочка, — сказала Лена, — даже если ты моя сестра, не думай, что я сейчас расплачусь и прижму тебя к своей груди. Твой отец нас бросил, и я никогда ему этого не прощу.

— Лена, хоть ты и старше, но на меня-то за что злиться? Мы ведь сёстры с тобой.

У Лены на глазах неожиданно набухли слёзы.

— Ты не представляешь, как он мне был нужен. Знаешь, как я его ждала? Знаешь, как я думала о нём постоянно? Он звонил несколько раз после вашего приезда. Мама с ним разговаривала, а потом передавала трубку мне. Я показывала маме кулак и говорила ему: «Да», «Нет». А сама надеялась, что сейчас он приедет и обнимет меня. Я его ненавидела и любила одновременно. Тебе хорошо, он у тебя есть, а у меня не было отца. Я всем девочкам в классе говорила: «У меня нет отца».

Варе вдруг стало безумно жалко свою старшую сестру.

Когда они выходили из кафе, они обнялись и только тогда почувствовали себя сёстрами.

С тех пор они встречались часто, но ни Варя отцу, ни Лена матери не рассказывали об этих встречах.

III

Варя помнила себя с трёх лет. И её первое воспоминание было об отце. В то лето он повёз дочку на дачу и был с ней всегда рядом. То ли она оступилась, то ли споткнулась, Варя помнила лишь, как оказалась в воде. Тогда не осознавала ничего, а сейчас понимала, что чуть не утонула, уже погружаясь с головой в воду, когда руки отца схватили её под мышки и вытащили на свет. Это было первое детское воспоминание: папа, мокрый с ног до головы, поднимает её высоко на руках и прижимает к себе.

Варе было семь лет, и они снова были на даче, когда она увидела случайно, как он обнимает их соседку, тётю Машу. Она тогда подошла к отцу и сказала очень отчётливо:

— Папа, ты что, меня хочешь бросить? Ты меня на эту тётю променяешь?

Варя хорошо запомнила его лицо, запомнила, как отец сразу потускнел и поник, а потом подхватил её на руки и сказал чужим, треснутым голосом:

— Что ты, доченька, мне, кроме тебя, никто не нужен.

И больше она тётю Машу никогда не видела рядом с отцом. Встречала её иногда на улице, и та всегда ей говорила с виноватой улыбкой:

— Здравствуй, Варенька. Папе привет передай.

А потом они с папой поехали на море, в Феодосию, и там он учил её плавать.

Сейчас Варя это понимала: женщин у отца больше не было.

В последнее время к ним часто захаживала их соседка по дому — Валентина Петровна. То пирожки домашние принесёт, то скажет:

— Иван Васильевич, давайте я приберусь у вас или приготовлю что-нибудь вкусное.

А отец, хоть Варя и чувствовала уже, как они смотрят друг на друга, всегда отвечал:

— Спасибо, Валентина Петровна. У меня Варенька хозяйничает.

И Валентина Петровна уходила, не обижаясь, а потом, под разными предлогами, приходила опять.

Сначала отец провожал Варю до школы, потом она стала бегать в школу одна. Как-то папа ей сказал, когда она уже выросла:

— Варенька, ты только не обманывай меня никогда.

И она запомнила эти его слова. Был мальчик, который ей нравился. Один раз они с ним поцеловались, и она о нём рассказала отцу, хотя и сомневалась: «Поймёт? Рассердится?» Он не рассердился, обнял её и сказал:

— Какая ты у меня уже большая.

IV

Варя позвонила Лене, своей сводной сестре.

— Лен, привет. У папы через неделю день рождения, шестьдесят лет. И никто к нему не придёт, представляешь? Приезжай со своей мамой. Придумай что-нибудь.

— Так, понятно. Буду думать, как это устроить. Хотя сомневаюсь, что мама придёт. А я обязательно приеду. Слушай, сестрёнка, а подарок ты приготовила?

— Нет ещё. Да и денег у меня на подарок нет.

— Тогда завтра встретимся. Выберем подарок и всё обсудим.

— Целую.

— Целую.

V

Дядя Толя, папин сын, приезжал к ним иногда, всегда один. Обычно он привозил торт, сажал Варю к себе на колени, гладил её по головке и говорил:

— Ну, ты как живёшь, сестричка-лисичка?

Варе это нравилось.

Она знала, что дядя Толя — её брат, но он был таким большим и старым, что она всегда звала его «дядя Толя». В последние годы он заезжал редко, а от папы Варя узнала, что у дяди Толи родился сын — Илюша, Варин племянник. Теперь Илюше было, должно быть, лет семь. Папа к ним ездил несколько раз, без Вари, поглядеть на внука, но потом его больше не приглашали.

Пока папы не было дома, Варя набрала телефон своего старшего брата.

— Варенька, милая, я помню, что у папы день рождения. Но мы, наверное, не сможем к вам приехать, что-то все приболели. Передай ему от нас поздравления, а я, конечно, тоже позвоню, поздравлю... Варенька, ты что, плачешь?

— Дяденька Толенька, — всхлипывая, говорила в трубку Варя, — папа умирает.

— Как умирает? Что с ним?

— Сердце, дядя Толя. Скорая помощь каждый день приезжает, а он в больницу отказывается ложиться. Говорит: вот встречу день рождения и умру.

— Варя, дай ему трубку.

— Дядя Толя, он только что заснул. Ему сделали укол, и он заснул.

— Милая моя, не плачь. Я сейчас приеду.

— Не надо приезжать, дядя Толя, — продолжала рыдать Варя, — он сказал: я в последний раз хочу всех увидеть на своём дне рождения, а потом умру спокойно. Он хотел попрощаться со всеми: с вашей мамой, с вашей женой и Илюшей. Приезжайте, пожалуйста, все на его день рождения. Это его последняя просьба.

— Варенька, не плачь, конечно, мы приедем.

— Я могу ему это передать? Это его успокоит немного и даст ещё пожить хоть несколько дней.

— Скажи, обязательно все приедем.

VI

Лена с Варей встретились в кафе. Они расцеловались и сели за столик. Варя, как обычно, взяла инициативу в свои руки.

— Леночка, надо обязательно, чтобы твоя мама приехала на папин день рождения. Ну и ты, конечно. Ты ведь сказала, что приедешь.

— Конечно, я приеду. А он знает?

— Он ничего не знает. Он сказал, что все заняты и он никого не хочет вырывать из дома из-за какого-то дня рождения. Он ведь такой: не хочет никого побеспокоить лишний раз. Но я-то его хорошо знаю: ему было бы приятно увидеть всех своих родных, хотя бы на свой юбилей. Ведь шестьдесят лет.

— Варюша, я обязательно приеду. Я так хочу его увидеть!

— А твоя мама?

— Вряд ли. Я думала, но я даже не знаю, что ей сказать.

— А может, мне к ней с тобой приехать и попросить её?

— Варя, я хорошо знаю свою мать. Это только всё испортит.

Варя задумалась, а потом заулыбалась.

— Я знаю. Скажи ей, что звонил папа и решил завещать свою квартиру тебе, и ей, вместе с тобой, именно в этот день, надо заехать за ним, чтобы пойти к нотариусу. Скажи, что уже время назначено.

— Варенька, ты опять всё придумываешь?

— Ничего я не придумываю. Он действительно был у нотариуса и завещал свою квартиру тебе. У него два экземпляра завещания, так что один из них он просто тебе отдаст.

— Варя, а как же ты?

— Леночка, он же ещё одну квартиру купил — для меня.

— Варенька, у тебя сплошные сюрпризы. Как я тебя люблю...

Лена заплакала, потянулась через столик к сестре и поцеловала её.

— Пойми ты наконец, Леночка. Папа очень любит тебя, и всегда любил. Он так и сказал: «Я хочу, чтобы у моих девочек всё было».

— Родная моя, сестрёнка. Как хорошо, что ты есть у меня!

Лена смахнула с ресниц слёзы.

— Пойдём выбирать папе подарок.

— А что ты предлагаешь? Ты лучше меня должна знать мужчин. Что можно подарить на шестидесятилетие?

— Я знаю что: очень хорошие, дорогие наручные часы. Скажем, Тиссо. Я взяла все свои деньги.

— Пойдём тогда выбирать, да?

VII

Варя позвонила в дверь к соседке, Валентине Петровне.

— Здравствуй, Варенька, проходи. Чаю хочешь? Пойдём на кухню.

Варя прошла на кухню, села за стол и, наверное, впервые стала незаметно изучать Валентину Петровну, представляя на своём месте отца.

«Конечно, уже не молодая, лет сорок, живёт одна, муж умер, детей нет. Симпатичная, добрая. Кажется, папа ей не безразличен. По-моему, она папе тоже нравится».

— А папа дома? Что же он не заходит?

— Папа на работе. Валентина Петровна, папа часто говорит о вас. Мне кажется, вы ему нравитесь.

Валентина Петровна вдруг покраснела и потупила взор.

— Откуда ты знаешь, Варюша?

— Валентина Петровна, я уже большая и могу понять мужчин. Тем более своего папу.

Соседка улыбнулась.

— Да, конечно, ты уже большая девочка.

— Знаете, Валентина Петровна, он очень стесняется выразить свои чувства к вам. Говорит: «Я старый для неё».

— Какой же он старый? Он так говорит?

— Да, Валентина Петровна. Только не выдавайте меня. Он всегда повторяет: «Только не говори ничего Валентине Петровне».

— Он так сказал?

— Да. Он ещё попросил меня пригласить вас на свой день рождения. Он побоялся к вам зайти, вдруг вы откажетесь. Только, пожалуйста, не говорите ему ничего. Вы придёте?

— Милая моя, конечно, приду. Спасибо тебе. Ты такая хорошая, такая светлая.

— Пожалуйста, приходите. Мы будем вас ждать.

VIII

В свой день рождения Иван Васильевич пришёл домой с работы пораньше. На пороге его встречала улыбающаяся Варя.

— Папа, я тебя поздравляю с днём рождения. У меня для тебя подарок, но это пока секрет. Иди, посмотри, что я приготовила.

Иван Васильевич поцеловал дочь, разделся и прошёл на кухню.

— Зачем же так много всего, Варенька?

— А вдруг кто-нибудь придёт?

— Доченька моя, кто же придёт? Давай сядем за стол, мы никого не ждём.

— Папа, а вдруг придут гости? Подожди немного.

И в это время раздался звонок в дверь. Варя побежала открывать.

Когда Иван Васильевич вышел в прихожую, он не поверил своим глазам. На пороге стояли Толя с женой, маленький Илюша и Толина мать — Ольга. Они выглядели

встревоженно. Толя первым сделал шаг навстречу и обнял Ивана Васильевича:

— Мы тебя поздравляем с днём рождения. Ты как себя чувствуешь?

— Нормально, спасибо. Как я вас рад видеть... Вот это сюрприз.

Он поцеловал сына, прижал к себе невестку, будто увидел её впервые, обнял бывшую жену так, словно и не прошло столько лет, и поднял на руки внука.

— Папа, тебе нельзя так волноваться, — сказал Анатолий.

— Можно, можно. Как я рад, что вы все пришли! Пойдёмте в комнату. Варенька как чувствовала: наготовила на большую компанию, на всю семью. Проходите, прошу вас.

В большой гостиной овальный стол блистал сервировкой и закуской.

— Это всё моя Варенька. Ну, присаживайтесь. Давайте пока коньячку за встречу. Оля, ты прекрасно выглядишь.

Толина мать, поджав губы, молча села в кресло, Лиза, жена Толи, как-то скованно присела в другое.

— Что же вы притихли? — продолжал радостно Иван Васильевич. — Как я вас всех давно не видел! Илюша, иди сюда, ко мне.

— Ну, вы пока поговорите. Варя, пойдём-ка со мной на кухню, — сказал Анатолий.

— Варька, — прошептал Толя, оставшись с Варей вдвоём, — я тебя выпорю. Ты что это напридумывала? Отца заживо хоронишь?

— Дядя Толя, прости. Но вы бы ведь по-другому не приехали к папе никогда. А у папы юбилей — шестьдесят лет. И он так вас всех хотел видеть...

— Ох, Варька, сестричка-лисичка, иди сюда, дай я тебя поцелую. Какая же ты хорошая, Варюша, я тебя очень люблю.

Варя прижалась к своему брату. Он был очень большим и очень родным, а главное, очень понимающим человеком.

— Дядя Толя, а как же мы теперь всё объясним вашей жене и вашей маме? Я хотела как лучше.

— Не переживай. Я всё-таки доктор. Скажу, что папе стало лучше от таких положительных эмоций. Пойдём к столу.

— А сейчас ещё кто-то придёт.

— Так, Варя, рассказывай. Что ты ещё затеяла?

— Дядя Толя, мне очень хотелось, чтобы на свой день рождения папа почувствовал, как его любят, и я пригласила всех.

— Кого всех? — нахмурился Анатолий.

— Всех его родных.

— Ты хочешь сказать, приедут Лена и тётя Таня?

— Да, приедут Лена и её мама.

— Варя, ты хоть соображаешь немного? Я тебя всегда считал умной девочкой. Ладно, ты придумала эту глупую историю с болезнью отца, я это могу понять. Но ты представить себе не можешь, что будет, если встретятся здесь моя мать и Ленина мать. Это будет скандал, весь день рождения будет испорчен.

Варя не успела ничего ответить. Прозвенел звонок у входной двери.

IX

Варя побежала открывать. На пороге стояли Лена и её мать.

— Здравствуйте, Татьяна Григорьевна. Здравствуй, Лена. Проходите, пожалуйста.

— Ты, наверное, Варя. Здравствуй.

Они вошли в прихожую и сняли плащи. Из комнаты на звонок вышел Иван Васильевич.

— Таня? Лена?

Больше он ничего не мог сказать, а потом бросился к Лене и стал целовать её, а из глаз у него брызнули слёзы. Варя никогда не видела, чтобы отец плакал.

— Леночка, девочка моя, любимая моя. Какая же ты большая.

Потом разжал руки и обнял Таню.

— Здравствуй, Таня. Прости. Спасибо, что пришли. Я так вас люблю!

Лена с Варей обнялись и поцеловались.

— Привет, рыжая.

— Привет, сестричка.

— Вы что, знакомы? — в один голос воскликнули Иван Васильевич и Татьяна Григорьевна.

— Папа, у нас с Леной для тебя подарок, — ответила Варя.

Лена достала из кармашка футляр и протянула отцу.

— Папочка, это тебе от нас. Поздравляем тебя.

Иван Васильевич раскрыл футляр и увидел часы Тиссо.

— Девочки мои, спасибо, родные. У меня никогда не было таких замечательных часов. И такого замечательного дня рождения. Я их сейчас же надену.

С одной стороны его обняла Варя, с другой — Лена.

Татьяна Григорьевна сделала шаг вперёд:

— Поздравляю тебя, Ваня.

— Ну пойдёмте. Проходите в комнату. Варенька столько всего наготовила.

Когда они вошли в гостиную, Илюша замер, подпрыгнув в воздухе, и посмотрел внимательно на новых гостей. Толя вжался в угол, его жена подошла к окну, а Ольга встала навстречу Тане.

— Вы все знакомы, только Илюшу ещё не знаете. Это мой внук, — бодро, как ему самому показалось, сказал Иван Васильевич.

Татьяна и Ольга долго стояли друг напротив друга и долго смотрели друг другу в глаза. Все замолчали, и даже неугомонный Илюша вдруг притих. Варя с Леной молча переглянулись. Пауза повисла где-то у потолка. Напряжённое молчание затягивалось и грозило перерасти в бурный взрыв эмоций, но Ольга неожиданно для всех спокойно сказала:

— Здравствуй, Таня. Давно не виделись.

— Здравствуй, Оля. Рада тебя видеть.

И тогда всё снова пришло в движение, будто ожили восковые фигуры. Ожил и Иван Васильевич:

— Теперь за стол.

Поймал Варин взгляд:

— Ещё не все гости собрались, папа.

— Загадками говоришь, Варенька. Кого же мы теперь ждём? Вся семья в сборе.

И снова раздалась трель звонка.

X

Дверь пошли открывать папа и Варя. Вошла Валентина Петровна:

— С днём рождения вас, Иван Васильевич. Вот, небольшой подарок.

И протянула ему часы Тиссо.

— Спасибо, Валентина Петровна, — ответил Иван Васильевич, пряча под рукавом свои часы. — Это так неожиданно и приятно, что вы зашли.

— Извините, вы меня не ждали?

— Ждали, ждали, — перебила Варя. — Папа хотел сказать, что только вас мы и ждали. Проходите в комнату, Валентина Петровна, и пора садиться за стол.

Иван Васильевич взял под руку Валентину Петровну, вошёл с ней в гостиную и представил всем.

...А потом Варя торжественно внесла именинный пирог с шестьюдесятью зажжёнными свечами и сказала:

— Папа, с днём рождения!

ДОМ У ОЗЕРА

I

В последние годы я привык просыпаться рано. В окно уже полощет свет, но солнце ещё не взошло. Озеро небрежно укутано рваным туманным покровом, и ветерок сквозь распахнутое окно холодит и гладит кожу.

Дом стоит на берегу озера, вокруг тишина. Маша спит, и я брожу по дому осторожно, чтобы не разбудить её. Дом наш из бруса: небольшой, но уютный. Терраса, кухня, спальня, гостиная, столовая и кабинет, где вечерами я пишу свои рассказы. Большего мне не надо.

Я одеваюсь потихоньку, беру удочку, раскладной стульчик и выхожу во двор. Далеко, на другом краю утреннего белого хлопка, лают, как сквозь вату, собаки. Летний порыв ветра уже раскидал по прибрежным кустам клочья воздушного молока, и озеро, будто заново родившись, расстилается у ног.

Я про себя благодарю Бога, что послал он мне в конце жизни эту благодать. Ничего мне больше не нужно, ничего я более не хочу.

Пусть не издаются мои рассказы, мне нравится сидеть вечерами под кругом настольной лампы и думать, и придумывать, и выкладывать на бумагу свои мысли. Машенька не беспокоит меня в эти ночные часы. Она хорошо меня понимает и тихо проходит мимо.

Мы вместе уже тридцать лет, и я до сих пор её люблю. Постарели мы, конечно, за прожитые вместе годы, но, когда я сижу на кухне, а она суетится у плиты, я вижу её стройную девичью фигуру и улыбающиеся мне искоса молодые глаза. У нас двое детей: мальчик и девочка. У Вани уже свои дети, наши внуки, он доктор, живёт в большой квартире, и мы гордимся им. За нашу младшую — Вареньку — мы с Машей беспокоимся. Два года назад она вышла замуж, и, мне кажется, не всё у них ладно.

Я уже привык к нашей размеренной жизни. Зимой мы с Машей в Москве, а с весны до глубокой осени здесь, на берегу озера.

Я присяду на бережок, пока не рассвело, закину удочку или спущу на воду свою лодчонку, и вся усталость, накопившаяся за жизнь, схлынет с меня, как озёрная вода.

Хорошо клюёт по утренней зорьке! Сейчас наловлю рыбки и домой, к Маше. Она, конечно, встанет к моему приходу, поцелует меня в сенях и пожарит ароматный улов.

Туман рассеялся. Встало солнце, распогодилось, наступил день. Сквозь прозрачный хрупкий воздух проявились соседние дворы, громче залаяли собаки.

II

Антон Сергеевич проснулся рано и прошёл на кухню. За окном серел московский предрассветный день. Накануне приходили соседи и поминали его жену, Машеньку. Уже десять лет, как она умерла. Уже десять лет, как он один и, кроме её фотографии на кухне, в доме никого. У сына Вани своя жизнь, своя семья, дети — его внуки. Он с ними редко видит-

ся. Варя, младшая, два года назад вышла замуж и будто забыла про отца.

Торопиться никуда не надо: пенсия. Водочки, что ли, выпить, благо осталось со вчерашнего.

Скользкая тяжёлая жаба упала на сердце и больно сдавила грудь.

Антон Сергеевич вернулся в комнату и прилёг. «Стакан воды принести некому», — подумалось в полузабытьи.

Он закрыл глаза и представил себе дом у озера, о котором мечтал всю жизнь.

ДУРАЧОК

Ходит дурачок по небу,
ищет дурачок глупее себя.

Е. Летов

I

Вася с детства привык, что его дразнили дурачком. Он настолько свыкся с этим, что подчас ему начинало казаться, что он хуже, чем другие, не такой, как все.

В детском саду все дети знали, что, стоит попросить у Васи игрушку, он отдаст с улыбкой и не будет требовать её возвращения. Обычно он сидел один в углу детской площадки, с ним не дружили, и не бегали с ним наперегонки, и не приглашали в свои игры, видимо, чувствуя детским чутьём, что он чужой здесь. Вася не обижался, что-то строил из песка и больше молчал. С тех пор и прилепилось к нему новое имя — дурачок. Так его звали и дома.

— Ты зачем машинку отдал? Даже не знаешь, кому. Мы тебя с отцом одеваем, игрушки дорогие покупаем, а ты их раздаёшь. Дурачок ты, дурачок! — кричала на него мать.

Вася при этих словах опускал голову и понимал: опять что-то он сделал неправильно. Ему было стыдно, и хотя он ещё не знал, что значит «дурачок», но чувствовал свою вину за то, что он такой.

Отец говорил с ним спокойнее:

— Понимаешь, Васенька, если мы тебе что-то подарили, значит, это твоё, и нельзя отдавать чужим. Над тобой только смеяться будут.

Вася, хоть ему и было всего пять лет, уже чувствовал, что папа прав, что чем больше его просили другие дети что-то отдать, тем больше они потом смеялись над ним. Но он ведь давал всё, что у него было, только потому, что очень хотелось увидеть, как они тоже смогут радоваться и любоваться его мишкой, или зайцем, или трактором.

А они убегали подальше, схватив игрушку, или топтали маленький трактор ногами у него на глазах и кричали дружно при этом: «Обманули дурака на четыре кулака. Дурачок, дурачок». А он чувствовал себя виноватым, что не смог как следует подойти к ним и сделать им подарок.

Почему-то воспитательницы тоже его невзлюбили. Однажды он вдруг описался, и нянечка, схватив за волосы, как щенка, долго тыкала его в лужу носом. В другой раз его поставили в угол, а он не понимал, за что. «Ты что наделал? Будешь наказан». Обида на эту несправедливость засела на всю жизнь.

Так продолжалось и потом, в школе. Ему очень хотелось подружиться с одноклассниками, но как это сделать, Вася не знал. Давал соседу по парте свой пенал и тетрадки, а потом у него их стали отбирать, не спрашивая разрешения.

Он не обижался, но теперь, когда его называли «дурачок», он уже понимал значение этого слова, и становилось стыдно за себя, за то, что он такой глупый и нехороший. С задней парты на уроке в спину тыкали ручкой и шипели: «Дурачок, дурачок». А когда, не выдержав, он оборачивался, учительница говорила: «Вася, вон из класса».

На переменах били портфелем по голове, а он думал: «За что?» За долгие однообразные школьные годы он привык к тому, что даже учителя за его спиной говорили: «Какая может быть пятёрка? Он же дурачок».

Родители махнули на него рукой и не ругали за двойки, а сам он знал, что двойки эти несправедливые, ведь он отвечал на уроках лучше всех в классе. Мать говорила по привычке, даже не кричала:

— Что с тебя взять? Ты же дурак.

Отец ещё обнимал иногда:

— Эх ты, Васенька-дурачок.

Была ещё сестра, на семь лет старше его, но она уже давно не обращала на него внимания.

В восьмом Вася влюбился в девочку из параллельного класса. Её звали Валя. Странное это было чувство. Он боялся подойти к ней, а на переменах не отрывал от неё взгляда. Ему всё нравилось в ней: и как она ходит, и как разговаривает с подругами, и как улыбается и смеётся. Ему хотелось защитить Валю от всех несчастий и обид, приносить ей радость и дарить цветы. Но вместо этого он стоял один у окна и лишь смотрел на неё. Однажды он увидел, как Валю провожает домой парень из старшего класса, но продолжал её по-прежнему любить.

Его уже не дразнили дурачком, но друзей у Васи не было. Собирались какие-то школьные компании, его не приглашали, и он привык, хотя иногда становилось обидно и за себя, и за них.

К Вале он так никогда и не подошёл, хотя однажды показалось, что она искоса тоже глядит на него, как-то по-женски, внимательно.

После окончания школы своих одноклассников он больше не встречал.

Как ни странно, неожиданно для всех он успешно поступил на физико-математический факультет университета, хотя даже не задумывался об этом, просто так получилось.

В студенческие годы он так ни с кем и не сошёлся. Когда он смотрел на однокурсниц, ему вспоминалась Валя. Он даже мысленно не мог изменить этому чувству к ней и с девушками не знакомился. Никто его не называл дурачком, но почему-то про себя он сам к себе именно так и относился — дурачок, и никто более.

В науках его привлекали фундаментальная физика и математика. Погружаясь в формулы и изобретая новые решения, он иногда чувствовал себя, очень редко и ненадолго, не дураком, а гением. Когда новые математические открытия ложились на бумагу, он принимал их как личное счастье, потом успокаивался и думал: «Я — дурак, раз у меня ничего больше нет, кроме этих идей». Эта мысль вносила успокоение в его жизнь: создавалось равновесие между его учёбой и первыми изобретениями и одиночеством среди людей.

В двадцать пять лет его приняли на работу в престижный научно-исследовательский институт, спустя два года он стал кандидатом наук.

Жизнь между тем текла вяло и монотонно. Умер отец, вышла замуж и ушла из дома сестра. Мать по-прежнему ворчала на него:

— Пора бы тебе уже жениться и семью заводить. Да что с тебя взять, дурачок.

Однажды его вызвал в свой кабинет директор.

— Мне нравятся ваши работы, Василий Петрович. Я даже могу посодействовать их публикации. Я помогу вам защитить докторскую диссертацию. Но у меня к вам просьба. Давайте будем публиковать ваши труды под моим именем, но и вы, конечно, будете упомянуты как ассистент и диссертант.

Вася понимал прекрасно, что это воровство, но возразить не мог. Не то чтобы боялся. Странно, но чувство страха никогда не возникало в его жизни. Просто ему вдруг стало жалко этого старого человека, который сам ничего не изобрёл. И он согласился.

Издавались Васины труды под чужим именем, но он никогда не ловил себя на мысли, что для него это имеет значение.

Через несколько лет он стал доктором наук и вскоре женился. Как так получилось с женитьбой, он не мог определить и не понимал до конца своей жизни. Когда он уже был начальником лаборатории, Аленька работала лаборантом. Он всё ещё жил вместе с матерью, в трёхкомнатной квартире, когда Алина любовь налетела на него, как вихрь. Аля была приезжей, с периферии. Красивая девушка, очень настойчивая и очень страстная. Ему тогда показалось, что она влюблена в него искренне и на всю жизнь.

Он её не любил, скорее всего, и до сих пор помнил о своей детской влюблённости. Но в Але был какой-то незнакомый ему напор чувств. Он не был близок до этого ни с одной женщиной, и когда они впервые легли в постель, он решил для себя наутро: это любовь. А через месяц они поженились.

К этому времени Василий Петрович зарабатывал неплохо и смог купить для себя и жены небольшую квартиру, прежде всего чтобы жить отдельно, не с матерью. Он думал о будущих детях. Может быть, вспоминая себя маленьким, хотел, чтобы у его детей всё было по-другому, счастливее. Аля не родила ему детей. Она каждый раз говорила: «Успеется. Ещё рано». А через год она сошлась с другим, и они развелись.

Алю ему было жаль. В ней теперь он видел ту юношескую, несостоявшуюся любовь. Он оставил ей квартиру и вернулся к матери. Мать его приняла и сказала лишь:

— Что, дурачок? Профукал свою квартиру? Живи уж.

II

Вася никогда не задумывался о том, что происходит в стране. Он каждое утро ходил на работу, и для него она оставалась главным делом жизни. И когда страна лопнула, как гнойный нарыв, он не почувствовал, что будущее его родины неразрывно связано и с ним.

Только через два года, когда закрыли их институт, а сотрудники в один день стали безработными, он понял, что всё изменилось: ни исследования, ни науки, ни изобретения больше никому не нужны, а его, как и многих, просто выбросили на обочину жизни.

Кто-то из его сотрудников уехал работать за границу, а он устроился продавцом на рынке. Через несколько лет рынок снесли, и Вася остался без работы и без денег.

Неожиданно, после долгого перерыва и молчания, в материнской квартире стала появляться Васина сестра — Нина. Когда они встретились, Нина обняла своего младшего брата и ласково сказала:

— Ну, ты как, дурачок? Ничего, всё наладится.

Теперь Нина приезжала каждую неделю. Маме она привозила продукты и пенсию, снятую со сберкнижки, а к Васе отношение изменилось:

— Что, дурачок? Нигде не работаешь? Живёшь в чужой квартире?

Как-то потихоньку Нина забрала себе и мамино пенсионное удостоверение, и документ на могилу, где был похоронен отец, и сберкнижку, и доверенность на получение с неё денег. Сколько она отдавала матери, сколько оставляла себе, не знал никто. У неё было два сына и два внука.

Вася тревожился и радовался за них. Когда ещё он работал, — кажется, это было так давно, — он всегда передавал им подарки. Но редко встречались.

Теперь у сестры всё было в порядке: у взрослых сыновей — по квартире и по машине. Вася гордился племянниками, они же ему никогда даже не звонили.

Приезжая в дом родителей, уже как к себе, сестра повторяла:

— Что, дурачок, жив ещё? Хватит на материной шее сидеть. Лучше бы ты сдох, пьянь.

Да, Вася начал выпивать. После нескольких рюмок он брал листок бумаги и записывал новые формулы. Он понимал, что как был, так и остаётся дурачком, но иногда в голову приходили открытия, которые, возможно, могли бы изменить мир. Только кому они были нужны?

Однажды он узнал, что мать завещала квартиру его сестре.

— Мама, а где же я буду жить?

— У неё дети и внуки, а у тебя никого. Нечего было свою квартиру чужим людям отдавать, дурак.

* * *

После смерти матери Нина продала родительскую квартиру, а Вася стал бомжом.

III

Началась новая жизнь: в подвалах, на помойках, на лавках в залах ожидания вокзалов, парках, вагонах метро. Иногда хотелось покончить с собой, чтобы избавиться от этого грязного бытия. Какая разница, где и как похоронят. Всё равно не рядом с отцом, матерью и предками. Сестра теперь хозяйка, и он не сомневался, что она в очередной раз предаст его. Эти мысли отступали перед боязнью ослушаться божьей заповеди. Хотя он слабо в это верил. Верил в Бога, но как-то давно и нечасто. Но не мог переступить через себя, самому свести счёты с жизнью. Так и скитался, так и пил, когда находилось на что.

Через год он встретил женщину, её звали Маша. Такая же бездомная, но, видимо, что-то тронуло сердце. Жалость ли, любовь? Она чем-то напоминала ту девочку из параллельного класса.

* * *

Машу забили до смерти какие-то незнакомые молодые парни на его глазах. Просто так, за то, что бомжи. Вдруг вспомнился маленький трактор из детства, который топтали ногами рядом с ним. Били и его, но он выжил.

Когда его выкинули из больницы, он понял: что-то перевернулось в его голове. После ударов, что ли, но он вдруг стал видеть будущее: то, что станется с ним, с другими людьми, со страной. И тогда он стал говорить. Он стал различать цвета людей: чёрный, красный, белый, синий, зелёный, фиолетовый. Они были разными, эти его прохожие. Одним он говорил: ты хороший, — мимо других проходил, не глядя, и, как его ни упрашивали, не разговаривал с ними.

Те, кто его слышал и знал, пересказывали: «Дурачок вещает». А он просто рассказывал о том, что узнавал в глубине глаз, и призывал к доброте. Больше он не писал формул, их никто не понимал, а слова ещё поражали слух людей. Лучше не писать, а говорить.

Вася ходил по городу и бормотал. Кто-то прислушивался к его словам и молился. Кто-то подавал ему на пропитание. В церквях его называли «Вася-дурачок». Его забирала милиция, его били ногами и отправляли в психушку, но он выходил и оттуда, и снова шёл по московским улицам, и снова говорил, и предсказывал.

Главная мысль в его лихорадочном бормотании заключалась в том, что только добрые люди или дураки попадут в царствие небесное, а злые и завистливые умрут от скрытых в них болезнях. Про будущее России он сказал так:

— Пройдёт напасть алчных, и слово добрых людей будет услышано. Тогда всё изменится.

* * *

В лохмотьях, едва прикрывающих кровоточащие язвы на ногах и теле, он брёл в центр города босым по стылой ноябрьской мостовой. От него дурно пахло немытым телом, потом, грязной одеждой, болезнью и нищетой, но люди не шарахались в сторону, и даже милиция не останавливала его.

Так Вася пришёл на главную площадь столицы. Удивительно, но и там его никто не задержал. Он присел на ступеньку Лобного места, рядом с храмом Василия Блаженного.

Когда мимо проезжал в Спасские ворота правительственный кортеж, Вася протянул руку и прошамкал беззубым ртом:

— Подай, царь, копеечку.

Но машины его не услышали и промчались вперёд...



Надежда Казакова

г. Химки, Московская область

ТРИПТИХ О САДОВНИКЕ

СОРНЯК

Этот росток появился среди сеянцев астр совершенно случайно: то ли птицы принесли, то ли ветер подарил, то ли при расфасовке семян попало зёрнышко не из того сорта в пакетик.

Странный пришелец был крепким, сочно-зелёным, с крупными листьями, похожими на щавель, на мощном стволике. Садовник рыхлил землю вокруг него, удобрял, когда приходил черёд это делать, поливал и вырывал сорную траву поблизости. Ему не терпелось узнать, что за сюрприз готовит ему незнакомец.

Шло время. Вот уже и август постучал в оконце. Тоненькие, длинноногие астры, похожие на девочек-подростков своей неуклюжестью и беззащитностью, превратились благодаря повседневному уходу в пышные кустики и поражали обилием цветов.

Давно обогнавший их в росте чужак продолжал тянуться к солнцу и набирать силу. Он отталкивал, теснил своих соседок, претендуя на исключительность и лучшее место под лучами уходящего в осень светила. Садовник каждый день наблюдал эту картину, и порой хотелось ему вступиться за безропотные стайки любимых астр, вырвать этого хищника, но всё ещё верилось ему, что не сегодня-завтра растение откликнется на его привязанность и заботу, порадует наконец бутонами, а вскоре и цветами.

Наступил сентябрь, ласковое негорячее солнышко всё реже прогуливалось по серому небу. В такие ненастные дни астровый ковёр под окном напоминал яркую картинку из уплывающего вместе с тоскливыми дождинками лета. Однажды утром, когда рассеялся туман, Садовник с сожалением заметил, что там, где ещё вчера красовался зелёный гигант, лежит абсолютно сухое растение с пергаментно-хрупкими листиками. Они тут же рассыпались в мельчайшие крошки от прикосновения его рук. Что удивительно, корни у растения-загадки были по-прежнему сочными и не подавали никаких признаков гибели.

Пытаясь разобраться в тайне своего питомца, Садовник засел за умные книги, проводя за чтением долгие осенние вечера. Как-то раз он нашёл информацию о том, что есть такой сорняк-хамелеон, который маскируется под культурное растение, привлекает к себе внимание эффектным внешним видом, да так и живёт рядом с цветами, порой даже подавляя, заглушая их и приводя к гибели. С наступлением холодов корень углубляется в землю, «устраивается на зимовку», а с весенним солнцем просыпается и даёт жизнь очередному ростку, второму и третьему. Говорят, он даже цветёт один раз в пять лет, но цветки его неказисты и дурно пахнут.

Садовник легко нашёл место, где прежде рос сорняк (он отметил его колышком в надежде на то, что весной растение тронется в рост и принесёт-таки ему летом букеты, охапки изумительных цветов), и выкопал из земли, которая ещё не успела промёрзнуть, все корни.

Закончив работу, он присел на скамеечку под озябшим кустом можжевельника и подумал о том, что не раз встречал за долгую жизнь людей, которые подобно тому сорняку поселялись в его сердце. Они разрастались, заполняли собой его будни и мысли, требовали внимания и понимания, чуткости и участия, забирали его время и силы. С одной, как оказывалось потом, целью — благодаря его добродушию, доверчивости и щедрости души оттеснить, опередить его, возвыситься над ним, получить незаслуженные дивиденды в виде высоких должностей и окладов, интересных проектов и командировок, престижных премий и почётных званий. Потом — выбросить за пределы своей судьбы, как отработанное топливо, и поскорее забыть.

...Выкорчёвывать людей-хамелеонов из памяти и жизни своей Садовнику было гораздо труднее, чем справиться с сорняком-хамелеоном.

ЯБЛОКИ ЦВЕТА РИСЛИНГА

Осень выдалась щедрой. Помидоры и огурцы, разложенные по банкам и посоленные по старинным рецептам, ждали дегустации. Аджика, сваренная из едва недозрелого садового тёрна с добавлением чеснока, перца и сахара, была обязательной на обеденном столе.

В морозильном шкафу теснились контейнеры с вишней, белой, чёрной и красной смородиной, крыжовником, облепихой, клубникой и сливой. Будет из чего зимой сделать начинку для пирожков и побаловать гостей!

Садовник благодарил и щедрые яблони за изобилие. Жена его наварила варенья и повидла. Аккуратные баночки так и манили к себе, так и зазывали попить чайку.

А яблоки всё не кончались. Утром, чуть свет, выйдет он в сад и никак не может надышаться воздухом, в котором переплелись запахи пожухлой уже листвы, засыпающих флоксов и — яблок. Румяная «Услада» делится своей помадной сладостью, полностью оправдывая название, «Коричное новое» не скупится на едва уловимую терпкость и горчинку, «Свежесть» прибавляет нотку мёда, смешанного с холодком росных сентябрьских трав. «Жигулёвское» и «Папировка» в этом хоре ароматов не участвуют, время их урожая — лето.

Возьмёт корзины, коих в доме немало, ибо из каждого своего путешествия по огромной нашей стране Садовник привозил с любовью сплетённые мастерами произведения искусства. Впору по ним было географию и промыслы народные изучать. Из Костромы, Владимира, Переславля-Залесского, Ярославля, Сергиева Посада и даже из Калининградской области переселились они сюда, в южное Подмосковье. Вот так и собралась у него за многие годы симпатичная нарядная коллекция.

Не спеша, бережно поднимая с земли оброненные мощными деревьями плоды, наберёт полные корзины, отнесёт в дом. Жена, устроившись на террасе, сразу же начнёт резать яблоки. Тоненькие просвечивающиеся кружочки, обрамлённые кожицей жёлтого, ярко-розового, зелёного и бордово-коричневого цвета, ровным живописным слоем ложатся на специальные поддоны и отправляются в сушилку.

Длится это действо изо дня в день на протяжении двух недель, а Садовнику хочется, чтоб оно и вовсе не кончалось, а вместе с ним и осень — пора урожая, негромкой нежности и глубокой мудрости.

На нарождающемся юном закате, закончив дела в саду, он берёт кисти, мольберт и садится на террасе, поодаль от Жены, которая в лучах уходящего за горизонт солнца чудо как хороша! Её неторопливые движения, мягкая улыбка в уголках карих глаз и добрых губ, седые прядки в ржаных колосьях волос так и просятся на холст, притягивают к себе и не отпускают. За окном краснеет рябина, высокий розовый куст дарит последний зефирный букет, а вьющиеся гортензии с ярко-зелёными листочками, напоминающими по форме листья яблони, карабкаются по янтарному стволу стройной сосны. Картина за окном — лучший фон для портрета. Его создала сама природа, нарядив в разноцветные одежды их милый сад.

Садовник сделал тысячи набросков, и ни один ему не нравился, но вот сегодня ему показалось, что будущая картина задышала и обрела жизнь. Ещё несколько дней работы — и полотно будет готово. К престольному празднику, Рождеству Пресвятой Богородицы, подарит он Жене, которая в честь Богородицы и была родителями названа Марией, осенний портрет.

Тот портрет, что будет написан в её родовом гнезде сентябрьскими вечерами. Чуть склонив голову, она будет резать осенние яблоки. На округло-лунном лице, по которому разбежались веснушки, будет светиться тень ускользающей улыбки, прячущей от постороннего глаза только ей ве́домую тайну, как быть счастливым человеком и делать счастливыми других.

То ли свет вечерней зари, то ли ещё не озябшие сумерки, то ли заполнивший всю террасу запах спелых подсыхающих яблок помогли Садовнику поймать ту редкую удачу, когда портрет не уступает оригиналу.

...

Высушенные яблоки приобретали оттенок рислинга и даже, так ему порой думалось, меняли свой вкус на тот, что свойственен винограду. Слегка золотистые, почти прозрачные тоненькие кружочки сушёных яблок были похожи на осеннее солнце, которое совершенно случайно однажды спустилось с низкого осеннего небосклона и осталось зимовать в мешках, мешочках и туесках: тихо здесь и светло.

Эти хрупкие солнышки цвета рислинга под аккомпанемент варочной панели и метели превращали обычную воду в божественно вкусный напиток, который бережно заботился о сердце Садовника и его Жены. А ещё он облегчал застарелую боль в суставах и будил воображение немолодого уже фантазёра из Малеевки, которому подчас чудилось, что он открыл очень важный закон земной нашей жизни.

Название закону ещё не придумалось, а суть его проста и, кажется, бесспорна.

Сменяют друг друга не только времена года, но и формы, в которых они существуют. Хрупкий нежный весенний цветок яблони летом превращается в плод, который наливается душистым соком. Осень шлифует вкус яблока. Как только не колдуют раннесентябрьской порой хозяйки над собранным урожаем: и в джем, и в сок, и в пастилу, и в варенье душу яблок переселяют.

Когда же приблизится сентябрь к экватору, будут они резать яблоки поздних сортов да сушить на зиму, превращая вчерашние спелые плоды в круглые пергаменты с оттенком одного из изысканных вин. А те в зимнюю стужу раскроют всю спрятанную в них энергию небесного светила и целебный венок витаминов всем, кто с наступлением первых тёплых деньков выйдет в сад и примется отчищать снег от стволов и белить их. Чтоб солнышко не переусердствовало, не обожгло настывшую за зиму кору.

Потом примчится весна на крыльях мартовских ветров, и всё повторится с начала... Яблоневый цвет — расписной плод — сушёные яблоки цвета рислинга — долгий сон. Весна — лето — осень — зима. Этому нет и не будет конца.

НА ПАПЕРТИ

1

Стылое небо. Рваные свинцовые облака. Ветер порывами. Стайка грязных листьев поднимется над тротуаром, промчится вперёд, настигая редких прохожих, и опустится перед ними отдохнуть ненадолго. Потом вдруг сорвётся с места, закружится, завьётся. И — снова упадёт. В догонялки с людьми играет.

Ноябрь — листовей.

То ли изморось, то ли туман.

Сыро.

Озябшими покрасневшими пальцами нищенка осеняет себя крестом, но это ей плохо удаётся.

Чёрное пальтишко из потёртого на локтях и полах драпа болтается на худеньких плечах, как на вешалке. Кажется, что при следующем мощном рывке ветру удастся оторвать владелицу этой жалкой одежонки от земли и унести далеко-далеко. Как тот последний листок, что осенник-свистун отнял у продрогшей берёзки на косогоре.

Но она стоит. Будто вросла в облюбованное место у Храма. Широкие рукава, съезжающие к локтю при каждой попытке перекреститься, обнажают голые руки.

Серо-коричневая самовязанная шаль из шерсти грубого прядения перекрещена под подбородком и туго завязана сзади узлом поверх поднятого воротника. Она почти полностью закрывает лоб женщины, ни одной прядки волос не выбивается наружу. Невозможно ни представить, ни угадать, блондинка она, или брюнетка, или седа как лунь.

Войлочные ботинки «прощай молодость», протёртые до дыр на мизинцах и косточках, будто взяты где-то напрокат без учёта размера. Несуразные полосатые носки чуть ниже середины икры не облегают ногу, а неопрятными складками сползают вниз, плохо скрывая застиранные дырявые хлопчатобумажные чулки.

На земле, прижавшись вплотную к мыскам ботинок, знакомящих современников с модой прабабушек, лежит

раскрытый матерчатый мешочек: некогда светло-бежевый, а теперь грязно-пепельный, покрытый россыпью пятен и пятнышек разного цвета и происхождения. Это пыльник от сумки «Hermes».

2

В этот старый намоленный Храм по престольным праздникам и воскресеньям ходили родители Садовника.

Теперь эту традицию продолжает он сам.

Последние лет пятнадцать одна и та же нищенка стоит с протянутой левой рукой на паперти. В толпе подобных себе она выделяется усталым голосом, слезящимися глазами и одеждой, похожей на экспонаты из музея поношенного советского ширпотреба середины двадцатого века.

После Егория Вешнего женщина исчезает, но к празднику Воскресения Словущего вновь появляется у Храма.

Садовник к ней привык. К человеку без имени, без лица. Всё — маскарад. Он ничего о ней не знает. Просто чувствует.

Он проходит всякий раз мимо, не реагируя на её чуть слышное «Подайте, Христа ради».

3

Не туман и не изморось. Завертела хоровод ноябрьская вьюга. Присыпала прилипшие к асфальту листья и газон белой мукой. Ни-ко-го. Храм, Садовник и нищенка.

На пальто её налипли колючие снежинки. Белая корона на платке не тает. Она в молчаливой безнадёжности протягивает левую руку вперёд, навстречу единственному прихожанину, направляющемуся в Храм. Правой же пытается по привычке наложить на себя крест, но получается отчего-то плохо.

Садовник видит карикатурность ситуации боковым зрением. Ему хочется поднять глаза на нищенку. И он это делает.

На безымянном пальце, который по православным канонам надо вместе с мизинцем прижать к ладони, прежде чем перекреститься, он замечает массивное золотое кольцо.

Но не золото делает его эксклюзивным, а диковинно крупный пейзажный королевский янтарь.

Сияющий в обрамлении драгоценного металла камень настолько велик, что мешает нищенке подобающим образом исполнить ритуал и попросить подаяние.

Руки холёные. Свежий маникюр.

Грязный пыльник от сумки «Hermes» сегодня пуст. Нищенка наклоняется за ним, подбирает с земли и, пытаясь схватить Садовника за рукав пальто, второй рукой подставляет ему свою «суму».

4

Садовник давно заприметил этот ресторан. Хорошая кухня. Вышколенные официанты. Спокойные интерьеры. Задрапированные шёлком цвета пыльной розы и дымчатой вуалью поверх него оконные проёмы. Живая музыка по вечерам.

Иногда он приходит сюда с женой. Иногда, как сейчас, один.

Через час должен заглянуть его однокурсник, который уже много лет живёт в Европе, но по делам изредка прилетает в город своей юности, и тогда они непременно встречаются.

До условленного времени ещё час, поэтому Садовник, выбрав столик в глубине зала, заказывает кофе.

Посетителей мало: будний день, полдень.

Эрик приносит чашечку кофе и бокал воды со льдом. Он знает привычки этого немолодого посетителя.

Кофе вкусный. Jamaica Blue Mountain — это Jamaica Blue Mountain. Ничего лишнего. Густой, насыщенный — божественный напиток.

Ореховый привкус оттеняет щепоточка соли, насыпанная в разогретую медную турку вместе с сахаром и только что смолотыми зёрнами. Струйки винного аромата любимого кофе Джона Леннона и Яна Флеминга щекочут память. Полуприкрыв глаза, седой Садовник под пленительную мелодию «Michelle» мысленно перелистывает страницы своей жизненной повести.

Романтик, ценитель доброты и честности в людях, он шёл от хребта к хребту, брал за перевалом перевал; он падал,

поднимался и снова шёл в неизведанное. Туда, где на вершине однажды засияла его звезда — полотно всей его жизни, его «Жизель».

Дипломы, почётные звания, слава — всё пришло после «Жизели», но помнится и дорого не это. Первый мольберт, первый урок, первая персональная выставка. С трудом организованная и — «освистанная» в профессиональном сообществе, в газетах, журналах, на пленуме и съезде Союза художников.

Не сломался. Ночью подрабатывал санитаром в травматологии, а днём, поспав часок-другой, возвращался к своим картинам.

Первыми его натурщиками были... больные. Он делал карандашные наброски каждое дежурство. Потом прорисовывал их. Так ему удавалось вести своеобразный «дневник» выздоровления молодых и не очень людей. Дневник в картинах и рисунках.

Тело человеческое научился чувствовать и видеть красоту там, где никто другой её не отыскал бы.

Трудное было время. Счастливое. Он взрослел. В нём вырастал Мастер...

Сквозь пелену воспоминаний в его сознание врывается разговор. В приглушённом полумраке кафе за соседним столиком — силуэты пожилых девушек без возраста. Мини. Сапоги из тонкой кожи до колен. Он не может разобрать лиц, но один голос... Садовник его где-то слышал.

5

— Ну что тебе рассказать? На днях Ванечке двадцать пять лет исполнилось. Красавец. Высокий, статный. Гла-а-за-а... Одет с иголочки. На шопинг только в Лондон. Учиться ещё не закончил. Трудный факультет выбрал, да и вуз первой руки. Поступил по олимпиаде на бюджет, но... теперь вот на платном. Преподаватели придираются, «валят» на экзаменах за пропуски лекций и семинаров. По курсовым и лабораторным одни «неуды» были на первом курсе.

Но Ванечка — он такой: гибкий, оборотистый. Быстро сориентировался. Нашёл по объявлению в интернете мужичка толкового. Теперь он Ване всё решает. Да, не бесплатно, но что делать. Диплом-то надо получать. С защитой, думаю, проблем не будет. Подыскали нужного человека. Уже приступил. Работает по плану и графику, который в институте утвердили. Пока у научного руководителя вопросов нет по дипломному проекту. С аспирантурой теперь надо определяться — не в армию же идти!

Живёт отдельно. Я ему квартиру купила двухкомнатную в хорошем районе. Вот он там с подругой. Работать? А кто его без высшего возьмёт? Пока только учится.

Они с Наташей ко мне приезжают, ни дня не пропустят. Я на работе часов до четырёх. Вернусь — что-нибудь вкусненькое приготовлю, накормлю их, с собой дам, чтоб на следующий день до вечера хватило.

Знаешь, хороший парень получился. Отзывчивый, ласковый, очень преданный и благодарный.

Говоришь, колечко моё понравилось? Так это Ваня в честь двадцатипятилетнего юбилея мне подарил. Да, летал специально в Калининград несколько раз. В ювелирной студии «Darvin» заказывал. Камень долго подобрать не могли. Крупные теперь редкость.

Ну конечно, деньги мои. У него-то откуда? Главное, что радует, — он всегда хочет сделать мне приятное. А моя задача — обеспечить финансовую составляющую.

На день рождения, на День матери, на Рождество задумает что-нибудь подарить, махнёт в Европу и — вот он, уже здесь, с дарами: дорого яичко к светлому дню! Никогда не скупится. Маме — всё самое лучшее. И украшения, и парфюм, и сумочки. Всё оригинальное. Никакого фейка. Ценит меня.

А с колечком такая история вышла. Отмечали Ванин день рождения в «Белом кролике», на Смоленской площади. Сама понимаешь, всё на высшем уровне. И вся Москва — у твоих ног. Покоряй, не стесняйся!

В самый разгар праздника пригласил меня сын на танец, но прежде тост за меня поднял, расцеловал, коробочку открыл и желанный подарок надел мне на безымянный палец. Очень просил никогда не снимать. Разве могу я просьбу сына не выполнить?

На другой день колечко это, дорогое моему сердцу, мешало в работе. Привыкну со временем. Люди ко всему привыкают.

Что ты, подруга, какая кафедра. Защитила кандидатскую по психологии, попреподавала год-другой и уволилась. Зарплата копеечная. А сына как одной растить? Ему ведь не только школа и футбольное поле под окном были нужны. Мир надо показать пацану, вкус к хорошей жизни привить.

Помню я и тараканов в нашей коммуналке в полуподвале, и одни ботинки на осень, зиму и весну, и пустой «холодильник» за окном, что вровень с тротуаром был. Хлебнула горюшка. Врагу не пожелаешь. Да что я тебе рассказываю? Ты и сама всё знаешь: и про маму мою запойную, и про отца, который искал утешения в чужих постелях. Как хотелось вырваться оттуда, как хотелось радости и еды вдоволь...

Спасибо неграмотной бабушке. Детей чужих нянчила, полы у богатых людей в домах мыла, бельё им на стиральной доске с мылом стирала. А денежку для меня откладывала. На юбочку, на зонтик, на книги, на поездку в Евпаторию. Помнишь, мы с тобой две недели были на седьмом небе? Море, песок, фрукты... Да, по два рубля за ночь... В хибарке из горбыля, на раскладушках, без света и удобств, с незапирающейся дверью и огромным псом около неё. Теперь страшно такое представить, а тогда это было счастье.

Отстояв очередь за варёной кукурузой на завтрак, лететь, лететь (как пчела летит на работу — собирать нектар) на пляж, потому что там и есть главная работа — загореть ровно, красиво, стать похожей на румянец спелого винограда.

...Все мы под Богом ходим. Лет уж давно за шестьдесят. Меня не станет — кто мальчику поможет?

Неизвестно, как жизнь дальше у Ванечки сложится... «Если я могу дать моему мальчику хороший жизненный старт, почему этого не сделать? И если я даже не могу, я всё равно должна, понимаешь, должна это сделать», — так я себе сказала, когда его папаша — приглашённый донор — растворился в февральских метелях, узнав о моей беременности. Да я на него и не рассчитывала. Чужой человек. Случайный.

Летом в международные лагеря и в Турцию, и в Болгарию сына отправляла. Когда в институте стал учиться, в Ирландию и в Америку покупала ему туры на 2—3 месяца.

Права ему водительские купила. Машину.

У меня теперь другая работа. Батюшка благословил, и пошло, и пошло... В будний день, если погода хорошая, минимум тысяч пять-шесть, а по праздникам и больше.

Трудно было в образ вживаться. Помогла соседка. Она в театре работает. Обеспечила реквизитом, кое-что подсказала. Свела с одним народным артистом, он теперь не служит в театре, даёт уроки сценического мастерства. Ну да, вложилась в этот проект конкретно.

Но теперь... Теперь всё лето провожу на Средиземноморье. Могу себе позволить. И массажистку, и маникюршу, и личную портниху, и профилактику дважды в год в ЦКБ, и такси от дома до работы и обратно — тоже могу.

Проблемы? Есть одна. Потому тебя и пригласила. Ванечка-то в автошколе не учился, правил толком не знает, да и рисковый, этого не отнять. Вот летом и разбил машину. По неопытности. Да и не машина уже это была, а так, рухлядь: три года на той Mitsubishi Pajero откатался.

Папина «Волга» где? Ну, дорогая моя, «Волга» — это папина гордость и единственное, что от него осталось. Но она же рудимент прошлого, Ванечка её за ненужностью давно сдал на металлолом. Надо новую покупать. У нового поколения всё должно быть новым. Ваня говорит, что ему нужен Gelandewagen, для престижа, для имиджа. А ты же знаешь, я для сына всё сделаю.

Не хватает мне два миллиона. Можешь одолжить? Заработаю, отдам с процентами.

Работаю кем? А разве я не сказала? У храма на паперти стою.

6

Садовник поперхнулся, закашлялся.

За соседним столиком сидела несчастная «счастливая» мать, кандидат психологических наук, нищенка с эксклюзивным кольцом на безымянном пальце правой руки...

2019 год, февраль

Людмила Колбасова

г. Балашиха, Московская область

«БАУШКИ»

— Горько, горько! — кричали изрядно подвыпившие весёлые гости.

Мы с Ленкой в очередной раз встали.

Она стыдливо прикрылась фатой.

— Потерпи, недолго осталось, — ласково посмотрела на меня и прильнула к моим губам. Гости считали, мы целовались, не испытывая при этом никаких чувств. Мы устали, мы устали настолько, что я со страхом ждал той минуты, когда останусь с Ленкой наедине.

Был жаркий вечер июльского дня, и воздух был наполнен тяжёлой изнуряющей духотой.

Ленка всех одаривала счастливой улыбкой и выглядела свежей, бодрой и весёлой.

Я зачарованно глядел на свою молодую жену и удивлялся: откуда она силы берёт?

Вспомнил бабушку: «Ленку замуж бери — золото, а не девка!»

Бабушка, или вернее — мои бабушки, а если ещё точнее — «баушки» — пришли на память разом, и взгрустнулось мне как-то.

Вышел на улицу. Присел на лавочку в соседнем сквере и закурил.

В свете фонаря увидел вышедшую из сумерек старушку в длинном платье и белой панамке. Часто семеня ногами, ссутулившись и крепко прижимая к груди сумочку, она шла, боязливо оглядываясь по сторонам.

«Смешные они — старушки», — подумал я и улыбнулся.

* * *

У меня, почти как у всех детей, было две бабушки. Две разные, как север и юг, как день и ночь, но одинаковые в том, что они нежно и беззаветно любили меня и ревностно боролись за мою любовь к ним. И звали их почти одинаково: первая бабушка — Марина Тимофеевна, вторая — Мария Тимофеевна.

Марина Тимофеевна — это мамина мама. Она жила недалеко от нас одна в большой профессорской квартире и, по мнению папы, была ещё той столичной штучкой. Это первая бабушка — она раньше появилась в моём мире.

Мария Тимофеевна — папина мама, по мнению мамы: «Ну конечно, три класса ЦПШ», — на что отец всегда говорил: «Не ЦПШ, а семилетка». Она переехала к нам, когда я перешёл в пятый класс.

Когда мне исполнилось шесть лет, первая бабушка заболела. Мама оставила работу и перешла жить к бабушке, чтобы за ней ухаживать, а мы с отцом остались одни в нашей однокомнатной кооперативной квартире, купленной на деньги покойного дедушки-профессора.

Вначале мы с папой радовались, потому что никто не выгонял его курить на лестницу, а мне разрешалось смотреть допоздна телевизор. Но потом заскучали, да и папе надоело готовить, а мне надоели постоянные сардельки на завтрак, и мы переехали временно пожить к бабушке. Переезжали на время, а остались навсегда. На одну зарплату жить было тяжело, и в свою квартиру мы пустили квартирантов.

Пока бабушка болела, я старался вести себя тихо. Огромная квартира, по моему разумению, была полна тайн. Они были повсюду: в кладовках и высоких шкафах, и даже тяжёлые бархатные гардины могли увлечь меня на долгие часы игры с ними.

Я постепенно осваивал и завоёвывал пространство, нарушая устоявшийся быт и порядок.

— Уберите это исчадие ада, — кричала бабушка, когда я «нарушал её границы», как она говорила, и обязательно добавляла: — Почему никто не воспитывает ребёнка?

— Вот и займитесь, — говорил отец.

— И займусь, — угрожающе отвечала отцу бабушка и ласково гладила меня по голове.

И занялась. Во-первых, я пошёл в первый класс, а во-вторых, бабушка решила обучать меня музыке, считая, что у меня идеальный слух.

— По крайней мере, у него меньше останется энергии носиться как оголтелому по квартире, — рассуждала она, и я обречённо играл нудные гаммы на рояле, с тоской смотря то и дело на часы: когда же пройдёт этот непонятный академический час.

Папа остатки моей энергии решил использовать по-своему и отвёл меня в секцию вольной борьбы.

— Вячеслав, — гневно кричала бабушка зятю, — вы уродуете ребёнка и лишаете его будущего — у него идеальный слух!

— А вы спросили ребёнка, хочет ли он заниматься вашей музыкой? — тоже повышал голос отец.

А я жалел себя и думал, что вольной борьбой я тоже не хочу заниматься. Тогда я вообще не знал, чего хочу.

Время шло. Бабушка выздоровела, и мама опять пошла работать, а я «остался на бабушке», как все говорили. Так — «на бабушке» я окончил первый класс, и наступили долгожданные каникулы. Родители до хрипоты спорили, чем меня занять летом и куда отправить, чтобы дать измученной бабушке отдохнуть.

И после долгих споров меня отправили в деревню к моей второй бабушке.

Ехать мне было страшно. Меня пугали бабушкина семилетка или ЦПШ, над которой смеялась мама, и грязная жирная еда, которой стращала первая бабушка. Ещё она боялась, что я «наберусь деревенщины», утону в реке, отравлюсь грибами, потеряюсь в лесу и меня сожрёт медведь.

И вот я в деревне. Простор! Луга, пруды и на горизонте лес — тёмный, страшный, густой. По улицам ходят куры, шипят и норовят ущипнуть гуси. Коровы, лошади, свиньи — их я раньше видел только на картинках, и всё это было мне в диковинку.

А для деревенских ребят необычным был я, и меня, по просьбе бабушки, местная пацанва взяла «на поруки».

Сложенные аккуратной горкой носочки мне не понадобились — детвора бегала босиком. Никого не пугало наступить в грязь или ещё лучше — в коровью лепёшку.

Бабушка Мария была полной противоположностью бабушке Марине.

Она была тихая, незаметная. Когда улыбалась, её белесые брови поднимались вверх «домиком», делая её взгляд грустным и виноватым. И внешне она была другая: маленького роста, полная, с круглым мягким лицом в морщинках и с ямочками на щеках. Смотрела на меня с таким обожанием и радостью, что у меня захватывало дыхание от её любви ко мне. Она крепко прижимала меня к себе и приговаривала: «Какой заморыш, чисто птенчик». От неё пахло молоком и жареной картошкой. И меня откармливали — сытно и вкусно.

Мне в деревне нравилось всё. Первое и самое главное — свобода. А второе — вкусная еда. Утром бабушка рано, ещё только начинало светать, приносила кружку парного молока: «Попей, только надоила, да и спи дальше».

Я, не открывая глаз, с огромным удовольствием залпом выпивал молоко и, с пенкой на губах, замертво падал на подушку досматривать интересные утренние сны.

А утром меня ждала яичница с кусками жареного сала, или рассыпчатая пшённая каша, приготовленная в печке с плавающим сверху растопленным сливочным маслом, или драники со сметаной. Пирожки с разной начинкой, хлеб из печи — всё было просто и необыкновенно вкусно.

Я носился с местными хлопцами с удочкой на пруды, с корзинкой по грибы и ягоды. Во дворе топили баню, и я с настоящими мужиками ходил отмывать с себя грязь. Меня лупили веником и обливали холодной водой.

А вечерами мы сидели с бабушкой на крыльце и отмахивались веточками от назойливых комаров. Я, затаив дыхание, слушал народные сказки, которые она рассказывала нараспев, и были про войну. Говорила она смешно и даже не всегда понятно — смесь белорусского и русского языков. Самым

страшным для меня оказалось, что в войну она похоронила пять детей, которые умерли от голода и болезней. Я прижимался к ней и говорил, что люблю её сильно-сильно и никогда не брошу.

Лето пролетело стремительно, и, расставаясь, бабушка плакала и за что-то просила прощения. Я клялся, что на следующий год обязательно к ней приеду.

Но на следующий год я поехал в пионерский лагерь на две смены сразу.

Бабушка писала письма крупными буквами и с ошибками. Передавала вначале всем приветы от родных и друзей, а затем описывала колхозные будни. Волновалась обо мне — не похудел ли я — и звала в гости.

Я садился писать ответ. Старательно выводил буквы, но ничего у меня не получалось. В такие минуты я злился на маму, папу, на свою первую бабушку и думал: «Вот, мы все вместе, а она сидит вечером одна-одинёшенька на крылечке и вспоминает своих деток. Смотрит на небо и запевает тихо: «А у поле берёза». Слова непонятные, но грустные, и хочется плакать...

И вдруг, как гром среди ясного неба, — бабушка Мария едет жить к нам!

Там что-то случилось: то ли колхоз развалился, то ли дом, то ли всё сразу, но я от радости кричал: «Ура, у меня теперь будет две баушки!» Почему-то у меня получалось: «Баушка». Все волновались и были напряжены.

— Как оно сложится, — вздыхала мама, а папа приговаривал, когда никто не слышал: «Теперь хоть поем по-человечески».

Бабушка приехала грустная, виноватая и опять просила прощения. Вздыхала и плакала, и мы все её жалели.

— Ну хватит сырость разводить! Поживём вместе, сколько той жизни осталось, — подбадривала её бабушка Марина. А я при этом округлял глаза и думал: «Ничего себе успокоила!»

— Да сколько отмерено, столько и поживём, — соглашалась бабушка Мария, — ты уж прости меня, сватья, — на старости лет в приживалки.

И опять плакала.

— Ну какие приживалки? Места-то сколько — всем хватит, — успокаивала её бабушка Марина.

Бабушку Марию поселили в мою комнату, чему я был несказанно рад, но не показывал это бабушке Марине, чтобы она не ревновала. Самое удивительное было то, что бабушки подружились.

По крайней мере, они очень старались, особенно бабушка Марина. Ей было легче — она была у себя дома. Но бабушка Марина была «ещё той язвой», как говорил папа, и она частенько бабушку Марию «подковыривала».

— Тимофевна, — звала она вторую бабушку, иронично коверкая отчество, как его произносила бабушка Мария, — пошли чайку попьём.

И они долго пили чай, размачивая в нём карамельки.

Когда бабушка Мария пекла пирожки, то бабушка Марина недовольно поджимала накрашенные узкие губы и говорила, что это самая что ни на есть вредная пища. А потом, когда никто не видел, таскала эти пирожки к себе в комнату и втихаря их там поедала. Все это знали, и все молчали, посмеиваясь про себя.

Когда, приняв ванную, бабушка Мария расчёсывала свои жидкие седые волосы, бабушка Марина кривила губы и говорила, передразнивая её: «Состриги ты эти космы и сними платок, не в деревне, чай».

— Это где же видано, чтобы старухи волосы стригли? — заплетая худую косичку, отвечала Мария.

Бабушка Марина поднимала брови и делала нарочито удивлённое лицо.

Иногда они садились выпить что-нибудь покрепче.

— Сватья, как смотришь по двадцать грамм принять? — говорила обычно Марина Марии.

— Чего ж не принять, накапай.

И они из маленьких коньячных рюмочек пили какую-нибудь самодельную настойку или наливку.

Эти «двадцать грамм» делали их разговорчивыми и весёлыми. Такие посиделки обычно заканчивались анекдотами про возраст, которые я помню до сих пор.

Например, разговаривают две подруги. Одна к другой обращается и забывает имя.

— Послушай, как тебя зовут? Запамятовала я.

Та долго думает и спрашивает:

— А тебе срочно надо?

И заливались весёлым смехом, и я вместе с ними.

Они действительно всё забывали и часто были заняты тем, что искали свои очки, гребешки, ключи, записные книжки.

Смешили, когда одна у другой спрашивала:

— Тимофевна, ты не помнишь, зачем это я на кухню пришла?

Мне было смешно и весело, и любил я их больше всех на свете. Так, под бдительным оком сразу двух бабушек, я окончил школу. Откормленный здоровый лоб с аттестатом ещё и об окончании музыкальной школы и хорошими разрядами в спортивной, я сразу поступил в институт.

А затем начались проблемы. Девчонки в меня влюблялись с первого взгляда. Моя молодая кровь бурлила, и энергия здорового тела требовала выход.

Помню, зная, что бабушки надолго ушли, привёл домой сокурсницу, которая была не прочь провести со мной время. И только мы удобно расположились, как, вздыхая и охая, бабушки неожиданно вошли в комнату.

Они замерли, покраснели и, не сговариваясь, побежали на кухню.

Девушка ретировалась вслед за бабушками, а мне до сих пор смешно вспоминать, какими глазами сокурсница смотрела на двух смешных старушек, которые совсем внезапно предстали перед нами в самое неподходящее время.

— Это твоя невеста? — осторожно поинтересовалась вторая бабушка.

— Ага, — кивала головой ей первая, — у него таких невест весь институт и полный двор.

Они начинали меня стыдить, пугать детьми, которых современные девицы навяжут мне. Осуждали свободные нравы девушек и были уверены, что все они готовы испортить мне жизнь. Им нравилась только одна девушка, и при каждом удобном случае её хвалили и сватали за меня.

Каждый раз разговор заканчивался словами второй бабушки: «Что ж ты, сокол мой, ищешь далёко, а под носом не видишь? Ленка из первого подъезда — золото, а не девка».

— Да, может, девушка и хорошая, — первая бабушка сомневалась, — но вкуса у неё совсем нет. Как оденется — ни лица, ни фигуры не видать.

— А зачем всем себя показывать? — спорила с ней вторая. — Кому надо — разглядят.

— Породы в ней маловато, — опять сомневалась первая, — простоватая она какая-то.

— Она что — лошадь, чтобы породу показывать? Её видно, что баба здоровая.

И, уже не обращая внимания на меня, они спорили о Ленке из соседнего подъезда, которая училась со мной в одной школе, и сходились во мнении, что только она годится мне в жёны.

А весной внезапно умерла бабушка Мария. Умерла тихо. Вдруг ойкнула и сползла по стенке. Скорая, белые халаты, занавешенные зеркала в квартире. Беготня по инстанциям за справками и магазинам за продуктами для поминок.

Вечером вышел во двор. Вдруг из темноты выходит Ленка с мусорным ведром, увидев меня, останавливается:

— У тебя бабушка умерла?

— Да. Ты приходи завтра на поминки.

— Приду, — ответила она просто и добавила: — А ты счастливый — у тебя ещё одна бабушка осталась и родители в полном комплекте, а у меня всегда одна мать.

Вспомнив, как бабушки постоянно мне сватали Ленку, я взглянул на неё, стоящую в свете фонаря, внимательно, а она, увидев, как я её бессовестно рассматриваю, покраснела.

«А она и правда ничего», — удивился я.

Вернулся в квартиру. Мать с отцом, ворочаясь и вздыхая, пытаются уснуть. В большой комнате на табуретках стоит гроб, обшитый чёрной тканью. В свете уличных фонарей и горящих свечей вижу бабушку Марину. Она гладит рукой кружевную накидку и тихо-тихо говорит:

— Я, Мария, скоро к тебе приду, ты там не скучай, держи мне местечко рядом. Вместе будем за своими сверху присматривать.

Я обнял оставшуюся бабушку и заревел как пацан.

— Не плачь. Всё правильно, сынок. Мы все в один конец едем, только на разных остановках выходим. Хорошо, когда по старшинству, — успокаивала она меня.

И «сынок», и «один конец с остановками» — всё это было от бабушки Марии.

Они — пожилые, почти прожившие жизнь и умудрённые опытом, учились друг у друга до конца своих дней.

А бабушка Мария всё-таки обстригла свой «мышиный хвостик» и даже мыла седые волосы оттеночным шампунем, отчего выглядела заметно моложе.

Это была моя первая и горькая потеря. И я плакал, утирая слёзы ладонью, и вспоминал лето в деревне: крыльцо, звёздное небо и голос родной, тёплый:

А у полі бяроза,
а у полі кудрава,
а на тэй бярозе
зязюля кукавала.

Бабушка Марина выполнила своё обещание и вскоре ушла к своей сватье-подружке.

Квартира осиротела. Ни отдельные комнаты для каждого, ни красивый ремонт не вернули квартире былое тепло и уют, что создавали бабушки.

А к Ленке я присмотрелся. Бабушки-то — они мудрые, увидели красоту там, где она не выпячивалась.

* * *

Тихо подошла Лена.

— Устал? — села рядом.

— Бабушек вспомнил, — они ведь первые тебя заметили. Говорили, что ты золото.

— Поживём — увидим, — засмеялась моя молодая жена. — Как же я устала... — она положила голову мне на плечо.

Я посмотрел вверх на чистое звёздное небо, а звёзды, подмигивая, глядели на нас, и я улыбнулся им, всем сердцем чувствуя и веря, что мои «Баушки» сейчас смотрят на нас с небес, счастливо улыбаются и весело подмигивают нам вместе со звёздами.

06.09.2018

ПАМЯТЬ СЕРДЦА

Скорый поезд, ритмично постукивая колёсами, нёс меня мимо милых сердцу мест. Я стояла у окна, стараясь дышать глубоко, чтобы успокоить сердце, которое при виде покидаемых родных пейзажей норовило остановиться или вырваться из плена, чтобы вернуться в пролетающие в сумеречном свете посёлки, просеки, деревни. Чтобы вернуться в те счастливые воспоминания, которые жили в душе и были добрыми советчиками, ориентирами и опорой в любой жизненной ситуации. Были моей лествицей и верным ангелом-хранителем.

За окном промелькнула старая железная дорога в окружении высоких тополей. Она вела на элеватор в обезлюдевшем посёлке с заброшенным яблоневым садом, когда-то родным и цветущим, а теперь вот с высохшими кривыми деревьями...

Я вернулась в купе, легла и отвернулась к стене. Память сердца вернула меня в прошлое, и я не видела — я ощутила себя босоногой девчонкой в простом ситцевом сарафане, весело прыгающей по шпалам железной дороги. Ноги испачканы смолой, креозотом и поколоты высохшей травой. Припекает солнце, громко стрекочут цикады и прыгают кузнечики.

Вспомнилась семья: мама, вечно пропадающая на работе, с несчастливой женской долей, бабушка, на неиссякаемой энергии которой держался наш дом, и дед — Егор Кузьмич.

* * *

Дом наш находился на самой окраине, близ глубокого оврага и леса за ним. За окном бушевала июльская гроза и было уже темно, когда в дверь внезапно постучали. На пороге стоял промокший под дождём пожилой человек в военной плащ-палатке, с посохом в руке и вещмешком за плечами. Наш Дружок — добродушная преданная дворняга — радостно вилял хвостом и подпрыгивал, стараясь лизнуть гостя в лицо. Обычно о появлении чужого около нашей ограды он оповещал грозным и громким лаем, а тут вдруг ластился к незнакомому человеку. Подивились мы, гостя в дом пригласили.

Оказалось, что ищет он свою внучку, которую отвезла и бросила на какой-то станции его непутёвая пьяница-дочь.

Вначале он мне страшным показался: глаза глубокие, цепкие, под мохнатыми грозными бровями, большая окладистая борода. Разговаривал странно — всё больше «окал» и в каждом вопросительном предложении слово «чай» говорил.

Бабушка сказала, что из далёких он мест — нижегородских.

— Эко судьба странника занесла, — вздыхала она.

Звали старика Егор Кузьмич. Мы, затаив дыхание, слушали рассказ про чужую беду и сразу все вспомнили брошенную в начале лета на станции девочку, сбитую ночью скорым поездом. Разговоров было! Разве такое забудешь? А как о таком горе сказать несчастному, уставшему путнику, который через всю страну, почитай, проехал? Может, та девочка и не его внучка вовсе.

Уложили старика в сенях да проворочались почти без сна всю ночь.

Бабушка всё вздыхала да причитала: «Вот горе-то горькое, как человеку сказать?»

И с утра побежала в участок поговорить о погибшей девочке с бывшим своим учеником, а теперь участковым нашего посёлка.

А потом и деда в участок пригласили, затем в район, в отделение милиции отвезли, и, выяснив, что погибла именно его внучка, Егор Кузьмич с каменным лицом вернулся к нам проститься и вдруг слёг с инфарктом. Не выдержало сердце

старика. И взяли мы заботу об одиноком больном человеке на себя.

Так и остался он жить с нами до конца своих дней. Совсем скоро я почувствовала его добрую душу, большое сердце и ластилась к старому человеку, как Дружок на пороге в первый вечер.

Его появление окрасило мою жизнь новыми яркими красками, незабываемыми впечатлениями и знаниями. Деда своего я не застала живым, отца у меня не было. Жили мы в покосившемся старом доме, и отсутствие в нём хозяина выглядывало из каждого угла.

Старик прижился у нас, я стала звать его дедом, а мама и бабушка — Кузьмичом.

К зиме Егор Кузьмич поправился. Руки его, привыкшие к труду, сами находили дело днём, а вечером, когда все собирались в доме, он уходил в отведённый ему угол за занавеской и читал толстую книгу, привезённую с собой в рюкзаке.

Книга была старинная, нестандартного формата, имела кожаный переплёт и золотое тиснение.

Уже через год трудно было вспомнить время, когда не было в нашей жизни этого удивительного человека.

Летом наша усадьба выглядела обновлённой и добротной. Новый сарай, ровный забор, укреплённый фундамент дома и новые ставни радовали нас.

— Тебя, Кузьмич, нам сам Господь прислал, — бабушка радовалась и не знала, как угодить старику, который стал в доме настоящим хозяином.

— А кто же ещё? Он, родимый, — и благоговейно крестился.

— Деда, а ты в Бога веришь? — я с гордостью носила красный пионерский галстук, и вера в Бога казалась мне пережитком какого-то древнейшего, чуть ли не первобытного, прошлого.

— А как же ты без веры жить собираешься? Я на войне только верой и спасался.

Чудны мне были его разговоры, но любопытство заставляло задавать новые вопросы и слушать удивительные, неожиданные ответы. Мне с ним говорить было крайне интересно.

Вечерами я заглядывала за занавеску к Кузьмичу и слушала его мерное спокойное бормотание текстов из Библии и молитв на сон грядущий. Понимать — не понимала, но его тихий голос и мягкие речевые обороты успокаивали и наполняли меня какой-то неизведанной доселе благодатью. После них я всегда легко засыпала и крепче спала. Со сном у меня были проблемы с самого рождения из-за боли в ногах. Только я начинала засыпать, как мои ноги, будто отдельно от меня, начинало выкручивать, и я не знала, куда и как их уложить, чтобы они спокойно уснули вместе со мной.

— Я ненавижу свои ноги, — жаловалась я деду.

А он неодобрительно качал головой и говорил, что ненависть — плохое чувство.

— Ненавидеть легче, любить труднее. Но жить в любви легче, нежели в ненависти. Ты полюби свои ноги и проси батюшку Серафима, чтоб облегчил твою боль.

И читал для меня молитву, но я помнила только первую строчку: «О пречудный отче Серафиме!»

— Ты запомни, внучка, жить надо с любовью ко всем людям и ко всему, что вокруг. И за всё Господа благодарить.

— И фашистов надо любить, и поезд, который задавил твою внучку? — не понимала и пыталась подловить старика трудными вопросами.

Он ласково смотрел на меня, гладил по голове:

— Возлюби ближнего, как самого себя. Человек слаб и грешен, и Господь ему судья.

Так, в трудах и разговорах, пролетели лето, осень. Зима была поздней и сырой. Подмораживать начало только ближе к Новому году. Долгими зимними вечерами дед рассказывал мне о святых, преподобных, старцах и старицах. Рассказывал интересно, как сказки, и совсем не призывал меня молиться, верить. Для самого же вера была естественной, как дыхание.

Наступили зимние каникулы. Крепчали морозы, и я каждый день бегала проверять, как замёрзла река, чтобы наконец-то надеть коньки и лететь по ровному льду навстречу зимнему солнцу, наслаждаясь движением и скоростью.

Солнце клонилось к закату, подморозило крепко. Я, неразумная девочка, осторожно наступая на лёд, шла от берега к середине реки маленькими шажками. Но, как ни осторожничала, беда всё-таки случилась, и я внезапно оказалась по грудь в воде. Тяжёлое ледяное течение пыталось отнести меня дальше от берега.

Намокшая грузная одежда тянула ко дну. Ужас, страх сковали меня, и я, пытаясь звать на помощь, не услышала свой голос. Слышала только тяжёлые удары сердца. Да и кому было кричать вдали от посёлка и дорог на закате зимнего дня? Но я продолжала слабым, каким-то хриплым голосом кликать о помощи. Ног и тела я уже не чувствовала, они неподъёмной ношей затягивали меня под лёд, но, в панике продолжая бить руками по льду, я сумела повернуться лицом к берегу.

Оказалось, что от берега я отошла совсем недалеко и лёд впереди меня был хрупкий. «Ручей, впадающий в реку», — подумала я, и мороз, сковавший моё тело, стал лишать меня сознания.

Перед глазами встали образы мамы, бабушки. Чётко увидела деда, и промелькнули мыслью его слова: «Ты делай, а надейся на Бога, верь, и тогда любое дело спорится. Проси — и будет тебе». Я, как истинная пионерка, спорила с дедом и доказывала, что надеяться человек может только на себя. Наш спор, как поняла я в дальнейшем, был вечным, и сейчас, вспомнив о спасении, стала с большим отчаянием бить по хрупкому льду и молиться всем, о ком рассказывал мне сказками Кузьмич. Молитв не зная, я повторяла запомнившиеся обрывки фраз и искренне верила в помощь и своё спасение. Я уже не просила слабым голосом о помощи, а громко кричала из глубины испуганного сердца: «Господи, помоги!» И верила, что меня слышат, что мне помогут, что меня спасут.

Вспоминала Богородицу, святых Серафима и Николая. Я с молитвой медленно крошила лёд перед собой и незаметно выбралась на грязный берег, где из-под земли пробивался ручей и довольно сильным потоком впадал в реку. Выбравшись, я упала в изнеможении, одежда на мне сразу стала замерзать. Телу стало тепло, и приятный успокаивающий сон убаюкивал и лишал способности думать. Остатками сознания услы-

шала вдалеке лай собаки и немного очнулась, когда тёплый влажный язык облизывал мне лицо.

Пришла в себя, как рассказывали, только на вторые сутки в огне высокой температуры от распирающей боли в груди и кашля: тяжёлого, болезненного, изнуряющего.

Открыв глаза, первым увидела деда.

— Очнулась, родимая, — он ласково погладил меня по голове, подержал руку на лбу и протянул чашку тёплого отвара, пахнущего хвоей.

— Деда, кто меня спас?

— Так Он и спас, — поднял палец вверх. — Как темнеть начало, вдруг икона в моей каморке упала, да упала не на постель, а как-то на пол отлетела. Громко так, Николай Угодничек мне беду известил. Я, нерадивый, сразу-то и не понял, вышел в сени за гвоздиком, а слышу: Дружок воет и в дверь скребётся. Ну, чую, беда пришла. Побежали мы: Дружок впереди, я — за ним. Так тебя, горемычную, и нашли.

И я опять впадала в беспамятство и сквозь помутившееся сознание слышала просьбы деда к Богородице не забирать найденную внучку, спасти меня и сохранить. И чудилась мне видением в белых одеждах с тонким продолговатым лицом и смиренным взглядом молодая красивая женщина. Смотрела ласково и грустно, творила надо мной крестное знамение тонкими длинными перстами и растворялась. Было ли то видение от воспалённого высокой температурой мозга, или... — не могу сказать, но видела чётко и хорошо помню до сих пор.

День за днём дед поил меня настоями и отварами трав, оборачивал мокрыми простынями, натирал грудь и ноги мазями и не отходил от меня ни днём, ни ночью. Я постоянно слышала его молитвы, просьбы и даже стенания, когда мне становилось хуже.

А весной, окрепшая, я вновь носилась по лужам с подружками и совсем забыла треск льда под моими ногами. Но крестик, который надел на меня Кузьмич, я ношу до сих пор. И твёрдо знаю, что вера помогает нам на всём нашем жизненном пути, спасает нас и хранит.

Егор Кузьмич недолго пожил с нами. Умирая, слабо улыбался и, грозя мне пальчиком, говорил, чтобы не плакала.

Но я ревела громко и долго. Моя душа была не готова к расставанию. Взяв в руки завещанную мне старинную Библию, нашла в ней записку, в которой он просил моих молитв о нём и благодарил всех нас за кров и семью, что мы подарили ему на закате дней. И я молилась, и тем успокаивалась.

Давно нет Егора Кузьмича, бабушки, мамы. Все они мирно покоятся на кладбище заброшенного посёлка, мимо которого мы проехали. Память сердца хранит воспоминания о дорогих мне людях. И мучает по сей день совесть, что проехала тогда мимо них и не пришла поклониться и помянуть. Стоя у окна, я вытирала платочком слёзы, хлюпала носом, а перед глазами видела деда, грозившего пальцем и просившего, чтобы не плакала.

27.10.2018



Иаков Липянский

г. Рига, Латвия

К ХРАМУ

Хороша дорога к Храму.
Я возьму за ручку маму,
И пойду к нему я вдаль —
Там с души сниму печаль.

Вместе с мамою моей
Путь становится светлей,
Потому что мама
Родилась у Храма.

Бабушка Людмила
Маму в Храм водила
И рассказывала маме
Быль об этом древнем Храме.

Утром слышен перезвон —
Далеко несётся он —
Звучный, с переливами,
Над полями, нивами.

В детстве матушка моя,
Чуть заря пробьёт с утра,
Поднималась с петухами,
Чтоб служить с бабулей в Храме.

В доме наведёт порядок —
Запах трав и мёда сладок;
Во дворе накормлен скот —
Так в деревне жил народ.

Хороша дорога к Храму —
Любо слушать в хоре маму.

ПО ДАВНО УЖ ЗАБЫТОЙ ШАГАЮ ДОРОГЕ...

По давно уж забытой шагаю дороге,
Опираясь, держу твёрдо посох в руке.
В голубиные дали несут меня ноги,
Унося за собою года, налегке.

То направо дорога вильнёт, то налево,
Круто в гору поднимется, спустится вниз.
Так же быстро, путями ветвистого древа,
Жизнь проносится, Истина кажется близ.

Удалился от міра в далёкое детство,
Там безоблачно чисто и ясно вокруг.
Остаётся лишь светлая память в наследство,
Позаброшенный дом и нескошенный луг.

Ближе птицы в полёте и синее небо,
Нежным чувством наполнены мысли и грудь.
Воздух детства в суму положил на потребу,
Отправляясь в далёкий, но близкий мне путь.

Сединой убелён, Божьим жив провиденьем,
Дни мои сочтены, но остался глоток
Детских лет, голубиная даль от рожденья,
Где родительский дом — вечной жизни исток.

ПОЛЕ КУЛИКОВО

Поэма

Живы памятью народной,
Родиной, где ветхий дом.
Речка, лес — там мать-природа
Говорит нам о былом.

О героях память вечна.
Нынче русичей сыны

Доказали — бесконечна
Цепь Победы с той войны.

Невский князь, Пожарский, Минин,
Князь Донской и Пересвет —
В поколениях поныне
Череда Святых Побед.

Как на поле Куликовом —
Поле дедов и отцов —
Снять зловластия оковы
Сызнова народ готов.

Как над Куликовым полем
Солнце ясное встаёт.
Помнить радость, помнить горе
Бог нас учит — наперёд.

***

Всё началось ещё тогда —
В четырнадцатом веке —
Молвой делились города
О честном Человеке.

Девятилетним князь (Донской)
Поставлен на княженье.
Он правил городом Москвой,
Был доблестным в сраженьях.

Князь справедливым, умным был,
Из камня Кремль отстроил.
И защищён при нём был тыл —
Святой Руси устои...

Москвою правил Дмитрий князь,
А старца Сергий звали —
Меж них молитвенная связь
Была прочнее стали.

Платила Русь Мамаю дань.
Великий князь Димитрий
В том отказал, и темник (хан)
Решил идти на битву.

***

Он зверский показал оскал —
Чтоб заплатил князь всё же,
Направил Бегича войска
На Русь. На речке Воже

Их встретил богатырский полк —
Командовал Димитрий.
Удар железа скоро смолк
На этом поле битвы.

Враг был разбит и побежал.
Но хан Мамай был гордый —
На Русь Святую зло держа,
Стал собирать в путь орды.

***

Услышав, что на Русь идёт
Войной ордынский темник,
Стал созывать народ в поход
Князь — Невского преемник.

В Коломне был назначен сбор,
По сбору смотр объявлен.
Поверье есть, что там Собор,
Чуть рухнувший, подправлен.

Часть рухнула, сей знак плохой
Всем виделся ужасным.
Был веры твёрдой и святой
Князь Дмитрий, сокол ясный.

На ратный подвиг помолясь,
Благословив на битву,

Святитель Сергий в тот же час
В помощники к Димитрию

Перекрестил монахов двух —
Ослябю с Пересветом:
В них боевой был русский дух.
В поход пошли с рассвета.

***

Был слышен волчий вой и гул
Со стороны Мамая —
Там грозный ветер сильно дул,
Ворон кружилась стая.

Где рать Донского — тишина —
Всё вкруг него молчало.
Победой кончится война —
Для рати означало.

***

Сошлись два воина в бою
На поле Куликовом.
Копытами их кони бьют,
Аж землю рвут подковы.

Сжав крепко вожжи у коня —
Тот прикусил удила, —
Молился, голову склоня,
Монах Святым могилам.

Молясь, он проронил слезу,
На Бога уповая.
Просить не о себе дерзнул —
Живёт пусть Русь родная.

А помолясь, помчал монах
Навстречу Челубею.
Богатырям неведом страх —
В бою душа светлее.

Сражён был воин Пересвет,
Но Русью он прославлен —
Димитрию Донскому свет
Им для Победы явлен.

Копьё Мурзы прошло насквозь —
Лишь в схиме, без кольчуги
И без доспехов славный росс
Жизнь положил за други.

Но и Мурза был поражён.
Упав с коня на землю,
Накрыт был чёрной схимой он
В знак пораженья. Внемлют

Сказаниям тех давних лет
И поколенья ныне,
Что одержал там Пересвет
Победу в крестной схиме.

***

Вступили в бой за Дон-рекой
Дружины боевые.
Сначала полк сторожевой
Погиб. За ним живые —

Отряды главного полка...
Ударил полк засадный —
Он обратил врага в бега
У берегов Непрядвы.

***

Уж было негде пасть стреле,
Сраженье долго длилось.
На русской той Святой земле
Всем тесно становилось.

Сраженье шло по мертвецам,
Смешались ржанье, крики.
Поклон прадедам, праотцам —
За Русь поклон великий.

***

Мамай с ордой к Москве пошёл.
На Куликовом поле
С ордою темник сокрушён
По высшей Божьей воле.

Народу много полегло —
Был князь там тоже ранен.
Но войско русское смогло
Разбить на поле брани

Ордынцев полчища. Сей край
Стал полем русской славы.
Здесь помнят, как бежал Мамай,
Могучие дубравы.

Нашли живыми налицо,
Рать посчитав в остатке,
Лишь сорок тысяч из бойцов,
Участвовавших в схватке.

Погибших братьев восемь дней
Живые собирали.
Там Пересвет и Челубей
Единым полем стали.

Димитрий назван был Донским
За подвиг тот великий —
Народной памятью храним:
К Святых причислен лику.

ЭПИЛОГ

Где шёл жестокий этот бой,
Непрядва протекает;
Там звон колоколов святой
И русский дух витает.

Стоит сегодня в тишине
Близ поля Куликова
Как памятник о той войне
Храм белый — Правды Слово.

Под Тулой к полю Знак ведёт* —
Огромный и могучий,
Стоит Евгению Крест тот —
Он за Христа умучен.

За крестик обезглавлен он,
Не сняв, ответив смело.
Так победил, хоть взят в полон, —
Душою, а не телом.

Пусть знают наперёд враги,
Что Русь непобедима.
Молитвой: «Боже, помоги» —
Она в веках хранима.

Народ России — исполин —
Своей земли ни пяди
Он не отдаст и из руин
Воспрянет жизни ради.

* В Тульской области на федеральной трассе М4 «Дон» установлен Поклонный крест Евгению Родионову, рядовому пограничных войск, обезглавленному в плену в день своего девятнадцатилетия и праздник Вознесения Господня – 23 мая 1996 года чеченскими боевиками за отказ снять нательный крест и принять ислам. Посмертно Евгений Родионов награждён орденом Мужества. Автор видит святую духовную связь между подвигом ратников Димитрия Донского, отдавших жизнь за православную Русь, и подвигом Евгения Родионова (***примечание автора***).

Петр Панасейко

г. Тольятти, Самарская область

СЕМЕЙНЫЙ АЛЬБОМ

Род наш большой, дружный, не было в нём никогда лентяев и любителей пустословия. Жили просто. Работали много. Умели в редкие праздники отдыхать, частушки да страдания петь под гармонь и плясать без устали.

Прадедушка Савва

Смотрю на отрывной календарь. Сегодня именинники Арсений, Григорий, Макар, Савва, Фёдор. Кто знает, может, именно в этот день во второй половине девятнадцатого века и родился мой прадедушка Савва Григорьевич Тарасенко: свидетельств о рождении тогда не выдавали, делали записи в храмовой книге о крещении. Вот потому и не знаю я точно, когда прадедушка появился на свет.

Его в живых, в отличие от прабабушки, я не застал. Он умер во время немецкой оккупации Украины в 1942 году. Не выдержало сердце.

Родился он там же, где и я, в селе Туркеновка. Женился Савва на Марине Тищенко ещё до призыва на царскую службу. Служил пять лет во флоте. Вернулся домой очень образованным человеком. Матросов обучали не только корабельному делу. Эти знания ему и пригодились. Если надо кому-то было поделить землю, сельчане звали Савву Григорьевича. Измерял он её всегда безошибочно, а все подсчёты, между прочим, производил в уме.

1917 год. Грянула революция. О колхозах пока никто не слышал, никто зажиточных крестьян не трогал. Это всё, как известно, было впереди. А тогда местные большевики, взявшие власть в Туркеновке и создавшие сельсовет, уговорили Савву поработать курьером. Что это такое, мне рассказывала в детстве прабабушка.

Сейчас деньги из банка и в банк перевозят инкассаторы. В те далёкие времена всё было по-другому. Особенно в сельской местности. Но ведь надо же как-то было доставлять деньги в Туркеновку на почту и обратно, и выручку в магазинах подолгу не оставляли. Нужен был смелый и смекалистый человек. Вот тут-то и пригодился матрос Тарасенко.

«До железнодорожной станции Гуляйполе, — говорила мне прабабушка, — Савва добирался всегда без проблем. Они начинались в поезде».

Далее она с восхищением рассказывала о находчивости своего мужа.

Заходит он в прокуренный вагон, забитый пассажирами всех мастей. Из вагона в вагон передвигаются воры и грабители. Это видно по их лицам. Другой профессии они не знают. Савва научился их определять на глаз. Вот впереди сидят «они» и играют в карты. Дальше — убитые горем женщины оплакивают погибших мужей и свою вдовью судьбу.

Другой на его месте примостился бы возле этих женщин (чем они ему могут угрожать?), но курьер остановился около «опасных» ребят: «Хлопцы, ну-ка положите мою корзинку на верхнюю полку». Хлопцы сначала внимательно осматривают корзину. По внешнему виду ей можно дать лет сто. Тряпки аж свисают с неё. Потом один из них говорит: «Дедушка, да кому она, эта корзина, нужна, разве что цыплят в ней высиживать?» Не успел Савва подтвердить сказанное, как его корзина оказалась на верхней полке. А ребята-бандиты так и не смогли догадаться, что на самом деле находилось в ней.

Всё бы ничего, но незаметно «подкрался» к селу 1929 год. Идти в один из создаваемых колхозов прадедушка отказался: «Чтобы я с этими голодранцами работал? Да никогда!» Он знал, что говорил. До революции земельный надел крестьянам давали на детей мужского пола. Поскольку у него родился только один сын и четыре дочери, то ему приходилось, чтобы прокормить детей, брать в аренду землю у односельчан, которых Бог наградил сыновьями. Да вот беда, работать они явно не хотели в поле.

Сегодня я уже не помню фамилию одного из «арендодателей», о котором мне рассказывала прабабушка. Но это, пожалуй, не главное. В то время как Савва Григорьевич с лошадьми и плугом отправлялся рано утром в поле, тот «собственник» земли брал тулуп, чтобы не жёстко было, ложился на него в тени у дома и отдыхал. Когда припекало солнце, он менял место. И так весь день. Арендатору пришлось потом делиться с лежебокой урожаем.

Может, и правильной была идея о создании колхозов, но работать не вместе с кем-то, а вместо кого-то прадедушка не возжелал и в колхоз не вступил, его собрались раскулачивать.

Не дожидаясь этой процедуры, он запряг своих лошадей, посадил в телегу прабабушку и уехал в город Донецк. Там устроился на стройку, числился на хорошем счету, ему обещали выделить квартиру.

Когда у сына Ивана умерла жена, пришлось прадедушке ехать к нему и брать на воспитание внучку Галю.

Помнится, я интересовался у прабабушки: что сталось с братьями Саввы Григорьевича? Оказалось, что старший ещё до войны с семьёй уехал на Дон. Следы его затерялись. Младший умер в 1947 году. Вроде как от голода. А может, и не от него.

Я не застал прадедушку, а он, умирая, понятия не имел, что я, его правнук, вот сейчас буду сидеть у монитора и записывать воспоминания прабабушки о нём. Но получилось именно так.

1 февраля 2017 года

Прабабушка Марина

Держу в руках пожелтевшую за десятилетия фотографию своей прабабушки и мысленно благодарю того человека, который изобрёл фотографию. Не будь этого чудо-изобретения, я не смог бы сегодня вглядываться в милое и такое дорогое мне лицо Марины Кононовны Тарасенко.

Она родилась во второй половине девятнадцатого века в том же селе Туркеновка. Сейчас это Малиновка, подчиняющаяся в административном порядке Гуляйпольскому району Запорожской области. Но в те далёкие времена, как известно, ни районов, ни областей не существовало. И Украины не было.

Девичья её фамилия — Тищенко. Когда подошло время выдавать Марину замуж, нашёлся и жених — Савва Григорьевич Тарасенко. Насколько мне известно, влюблённым пришлось преодолеть препятствие со стороны отца жениха. У того на примете имелась другая кандидатура в невестки. Однако, как бывает в таких случаях, победила любовь. Молодые поженились. Отец в принципе против Марины не возражал, но его смущал её рост: «Пойдёт кормить свиней, а её из-за кошары никто не увидит».

Вскоре Савву забрали служить на флот. Жена пять лет с ребёнком на руках ждала своего любимого. Жила (по тем временам это являлось обязательным) в доме мужа, где находился свёкор, его старший сын с женой и младший брат мужа Николай. Из-за поведения последнего Марина молила Бога, чтобы Савву отпустили в отпуск. Бог её услышал.

Уходя на службу, Савва оставил в своём доме жену с маленькой дочкой Пелагеей. Она-то и явилась предметом шуток со стороны Николая. «Пелагеюшка, открой ротик, дам конфетку», — просил он её. Но вместо обещанных сладостей просто плевал ребёнку в рот. Жаловаться мама отцу хулигана боялась и с нетерпением ждала мужа. Приехав в отпуск, тот попросил старшего брата взять под контроль младшего брата Николая. Больше обидчик к племяннице и на шаг не подходил. Я всё допытывался у прабабушки: «Он был ненормальным?» «Да нет, вполне нормальным, совершеннолетним, — отвечала она. — Шутка такая глупая у него была».

После возвращения Саввы с царской службы у них родилось ещё четверо детей: Евдокия (моя бабушка), Иван, Прасковья и Екатерина. Сын погиб на фронте.

Я «заметил» появление прабабушки в нашем сельском доме где-то на третьем году жизни. Хотя, как мне сказали, она поселилась у своей дочери Евдокии в начале 1950-х

годов. Я же родился в 1956-м. До этого она часто меняла место жительства по не зависящим от неё причинам.

Коллективизацию, как я уже упоминал, прадедушка не принял и вместе с семьёй уехал в город Донецк. Затем, когда у сына умерла жена и он женился во второй раз, Савва Григорьевич и Марина Кононовна взяли на воспитание внучку Галю. Когда же та выросла, вышла замуж и у неё родился сын Саша, то Марина Кононовна стала, по сути, для внука незаменимой няней.

Поскольку Яков, муж Гали, был военным лётчиком, то перебирались они с аэродрома на аэродром. Прабабушка «путешествовала» вместе с ними. Кто-то ведь должен был присматривать за маленьким Сашей, когда его родители были на работе!

Хорошо помню, когда я первого сентября 1964 года шёл в первый класс, прабабушка мне сказала: «Учись, Петя, хорошо, не останавливайся, как мы с твоей бабушкой, на четвёртом классе». Тогда, разумеется, я не понимал смысла сказанных ею слов. Теперь — понимаю: они рады бы и дальше были учиться, но на тот момент в селе работала только начальная школа.

Моя мама училась уже в семилетней, а я пошёл в восьмилетнюю школу. Это прабабушка знала. Но как бы она удивилась и обрадовалась сейчас, узнав, что в её родном селе школа теперь одиннадцатилетняя. Не надо ездить учиться в среднюю школу в соседнюю Полтавку.

Хочу сказать, что просьбу прабабушки я перевыполнил: окончил не только десять классов, но и юридический факультет Куйбышевского университета. А куда мне было деваться: раз обещал, слово надо держать.

Когда заболела моя бабушка Дуня, которая умерла 31 октября 1967 года, прабабушки в нашем доме уже не оказалось: её забрала в Донецк дочь Прасковья. Там, спустя год, в возрасте девяноста лет она и ушла из жизни.

А я, один из правнуков, смотрю на старое фото и вспоминаю прабабушку Марину Кононовну добрым словом.

31 января 2017 года

Бабушка Евдокия

Мой любимый писатель, у которого я учился этому нелёгкому делу, Иван Алексеевич Бунин в автобиографическом романе «Жизнь Арсеньева» писал: «В далёкой родной земле, одинокая, навеки всем миром забытая, да покоится она в мире и да будет вовеки благословенно её бесценное имя. Ужели та, чей безглазый череп, чьи серые кости лежат теперь где-то там, в кладбищенской роще захолустного русского города, на дне уже безымянной могилы, ужели это она, которая некогда качала меня на руках?» Так великий писатель говорил о своей матери.

Каждый раз, когда я перечитывал этот роман, я вспоминал свою любимую бабушку по матери Шинкаренко Евдокию Саввичну. Сегодня, 31 октября 2015 года, сорок восьмая годовщина со дня её смерти, а родилась она в марте 1905 года, то есть в этом году была сто десятая годовщина со дня её рождения.

Была она второй дочерью Саввы Григорьевича и Марины Кононовны Тарасенко.

Революцию 1917 года бабушка помнила хорошо, хотя ей тогда исполнилось только двенадцать с половиной лет. Она нам с братом рассказывала, что революционные те события из Петрограда до украинского села Туркеновки докатились с большим опозданием. И то благодаря тому, что село находилось в девятнадцати километрах от мало кому известного тогда Гуляй-поля. Но вскоре оно прогремит на всю округу и далеко за его пределами. Его «прославит» Нестор Иванович Махно. В село он заезжал, и бабушка его видела.

Когда в 1959 году на экраны вышел третий фильм трилогии «Хождения по мукам» под названием «Хмурое утро», мне исполнилось три года. Но когда я маленько подрос, то услышал от бабушки, что тот экранный Махно ничего общего не имел с реальным Нестором Ивановичем. Особенно она улыбалась, когда смотрела фильм «Александр Пархоменко», где тот, по её словам, вообще получился карикатурным. Помню её слова о том, что если бы Махно был таким глупым, каким его показывают в кино, то пол-Украины не держал бы в руках.

Не берусь судить, насколько верно это мнение, но то, что бабушка не раз видела Махно, — это факт.

Установление советской власти в селе ей запомнилось хорошо тем, что те крестьяне, которые до революции сдавали свою землю в аренду односельчанам, получая потом часть урожая, не желая при этом трудиться в поле, в один миг оказались большевиками или сочувствующими, агитировали за советскую власть и надеялись занять местечко «потеплее» при новом режиме.

Среди сельских большевиков, однако, встречались и вполне разумные, толковые люди. Бабушка на всю жизнь запомнила, как однажды рано утром в их дверь постучали. Прабабушка Марина открыла — на пороге стояла группа вооружённых людей. Они ходили по домам и изымали то, что имело цену. Один из пришедших пытался штыком проверить, не спрятаны ли драгоценности за одной из икон, висящих на стене. Это ему удалось бы, если бы не стоящий рядом пожилой красногвардеец. Урезонил он своего спутника-богохульника. Икона осталась неповреждённой.

В колхоз бабушка вступила, как и все, в начале 1930-х годов, всё время работала в поле. Вышла на пенсию, получив инвалидность по зрению.

В семейной жизни ей не повезло. Замуж вышла за Семёна Шинкаренко. Из всех их многочисленных детей выжила только одна моя мама, Елена, остальные все умерли в детстве.

Если Гражданскую войну бабушка видела детскими глазами, то Великую Отечественную войну и временную немецкую оккупацию села помнит хорошо. Однако рассказывать особо не хотела: тяжело было носить в себе весь тот ужас, но делиться переживаниями той поры, видимо, было ещё тяжелее.

Муж с фронта вернулся живым и невредимым, но радости не принёс: вскоре ушёл из семьи к другой женщине, более молодой, оставив не только своих жену и дочь на произвол судьбы, но и родную мать. Когда она померла, её хоронила сноха, моя бабушка, а сын не пришёл её даже проводить в последний путь.

Бабушка окончила всего четыре класса: другой школы тогда в селе просто не было. Но когда я был в первом — третьем классах (в четвёртом я уже учился без неё), она проверяла у меня задания по математике и другим предметам. До сих пор слышу её голос: «Петя, посмотри ответ, сходится?» Ответы сходились всегда.

Некрасова знала чуть ли не наизусть.

Она считала себя очень верующим человеком. Помню, как в 1964 году у нас в доме появилась радиола и как бабушка с прабабушкой по вечерам сидели возле неё и слушали радио Ватикана.

Вера бабушкина спасла меня от смерти, когда мне шёл только второй год. Обнаружилась грыжа. Её следовало удалить. В селе не стали этого делать, так как поднялась температура. Повезли в районную больницу. Пока сюда-туда, у меня температура стала зашкаливать за сорок градусов. Делать операцию с такой температурой врачи не решались. А счёт жизни шёл уже на минуты.

Тогда моя бабушка Евдокия всю ответственность взяла на себя, написав соответствующую бумагу. Хирург Костенко (жаль, не запомнил я его имени), не давая никаких гарантий, рискнул. В «помощниках» у него был сам Господь Бог: всё время, пока шла операция, бабушка самозабвенно молилась. И я выжил!

Бабушка умерла в возрасте шестидесяти двух с половиной лет. Я только-только пошёл в четвёртый класс. Как мне потом её не хватало!

Двадцатого августа 1971 года мои родители поменяли место жительства, уехав на берега Волги, где построили Волжский автомобильный завод. Мы навсегда покинули родное село.

За четыре года до нашего отъезда произошли два события, которые я связываю между собой всю свою жизнь.

Тридцать первого октября 1967 года умирает моя бабушка, и в этот же день за тысячу километров от украинского села Малиновка в русском городе Тольятти закладывают фундамент первого дома нового Автозаводского района (Автограда). Района, где мне, её внуку, предстояло жить. Чистое совпадение? Вряд ли.

И вот почему. 31 октября — последний день месяца. Начать строительство резоннее было на следующий день, первого ноября, но заложили именно 31 октября. Тем самым бабушка «благословила» наш переезд. Так я думаю. И мне кажется, что от мысли этой теплее становится на душе.

Я не случайно привёл слова Бунина в самом начале своего рассказа о бабушке. После распада СССР она оказалась в таком же положении, как когда-то мама великого русского писателя. Между Украиной и Россией не только проходит сегодня государственная граница, это ныне и вовсе разные государства. Последний раз я побывал на могиле бабушки Евдокии в мае 1991 года, ещё в бытность СССР.

Пока живы были мои родственники в селе и недалёкой округе, я не переживал. Но когда их не стало... перечитывая Бунина, я всё больше печалился о том, что некому хотя бы изредка проведать бабушку. Однако в моём родном селе нашёлся один добрый человек, который стал ухаживать за могилкой моей бабушки. Это моя одноклассница Надя Ткачун. Низкий ей поклон.

31 октября 2015 года

Дедушка Ефим

По законам природы у каждого человека должны быть мама и папа. И по две бабушки и два дедушки. У меня последних тоже имелось два. О первом (Ефиме) сейчас пойдёт речь, для второго (Семёна) применима поговорка древних римлян: «О мёртвых или хорошо, или ничего».

Ефим родился в семье Антона Панасейко в известном уже читателям по моим воспоминаниям селе Туркеновка. Как рассказывал мне в детстве сам дедушка, его отец жил хорошо, содержал мельницу.

В 1920-х годах некоторые туркеновцы, в число которых попал и мой дедушка, переехали на хутор Южный, где в 1929 году родился мой отец Алексей. Когда родился я, хутор ещё существовал, утопая в зелени. Однако вскоре он по воле Никиты Сергеевича Хрущёва приказал долго жить.

Моя детская память навсегда сохранила слёзы хуторян, покидавших обжитые места. До сих пор мне не совсем понятно: зачем Хрущёв это сделал? Ведь вокруг хуторов находились поля, до которых рукой подать, не нужно тратить во время посевной или уборочных кампаний драгоценное время на поездки туда и обратно. Не все же жили в поле. Я, например, часто вспоминаю, как нас, школьников, возили летом на отработку в поля. Чуть ли не до обеда едем в поле, немножко работаем, обедаем, снова немножко работаем, едем домой. Не столько помощи, сколько потери времени и сил, да ещё и с учёбой отставали из-за этих отработок.

Жители разорённого хутора Южный вернулись снова в родное село, но называлось оно уже Новосёловка. Переехал и мой дедушка Ефим с бабушкой Анной.

Поселился дедушка в доме на последней улице села. Добираться до него летом было удовольствием: едешь на велосипеде и любуешься красотой. Чего не скажешь про зиму. Долгим на морозе казался путь до дедушкиного крылечка.

Прошли десятилетия с тех пор, как я покинул родные края, а помню я дедушкин чудесный старый сад, как будто только вчера был там. Дедушка выращивал и вишни, и сливы, и груши, и яблоки. На плодородной украинской земле при хорошем уходе всё это плодоносило обильно и радовало нас. Каждое лето я приезжал помогать собирать урожай.

Когда становилось очень жарко и ветки деревьев не защищали от солнечных лучей, я прятался в саманном старинном домике, приютившемся в саду. Как сейчас помню, посередине стояла печь, а на стенах в рамках висели фотографии. Сейчас в домах и квартирах принято вешать на стены картины художников, а фото помещать в фотоальбомы. Может, это и правильно. Кто знает? Но лично меня берёт в свои объятия ностальгия, когда я вспоминаю те фото моих далёких предков на стенах в дедушкином доме.

Когда мы начали строить каменный дом, я ещё под стол пешком ходил. Но в школу пошёл уже из него. Поскольку дом строился до моего ученичества, то, учитывая тот факт, что в детский садик меня не водили, временем свободным я располагал. И с утра до вечера ходил я вокруг строящегося дома

и с интересом наблюдал, как дедушка Ефим клал шлакоблоки один за одним, соблюдая строго все требования при строительстве, хотя каменщиком не являлся. Интуиция помогала да добрые люди советы давали. В 1963 году дом был сдан дедушкой в эксплуатацию.

В соседнем селе Полтавка у дедушки жил какой-то дальний родственник или родственница. Однажды он туда собрался в гости. С собой нёс какой-то не очень лёгкий подарок. К нам во двор его кто-то подбросил на машине. А дальше пришлось помогать мне. Из-за уважения к дедушке я не поехал в тот июльский воскресный день с ребятами на рыбалку на велосипеде. Его использовал при поездке в Полтавку, доставляя груз по назначению.

— Эх, Петя, был бы я как твой отец сейчас, — жаловался он мне, — прокатились бы мы с тобой с ветерком.

— Ничего страшного, я с ветерком обратно поеду. Вы же останетесь ночевать там.

Накануне отъезда в Тольятти зашёл к дедушке попрощаться. Обещал к нему приехать в гости после армии. Увы! Судьба распорядилась по-своему: из армии я вернулся в декабре 1976 года, а дедушка умер годом раньше.

3 апреля 2017 года

Крёстный

Иногда спрашиваешь у друзей или знакомых: «Кто у тебя крёстный?» — и слышишь в ответ: «Не помню, мама о ком-то в детстве говорила, но столько воды утекло с тех пор...» У меня другая история: своего крёстного я не только знал и любил, но и храню память о нём до сих пор.

Владимир Петрович Тищенко родился ещё до войны в том же селе, что и я. Он — сын родного брата моей прабабушки Марины. Почему мои родители выбрали именно его, я догадывался: его семья дружила с моей мамой Леной и бабушкой Евдокией. Как показало время, они не ошиблись. Я всегда ощущал, что у меня есть крёстный. Даже и после того, как Владимир Петрович с женой Ниной Степановной

и сыном Серёжей переехали из села в город Днепропетровск.

Владимир Петрович был образцовым семьянином, безумно любил жену, она ему отвечала тем же, всю жизнь хранила и берегла семейный очаг.

В мае 1991 года, посещая свою малую родину на запорожской земле, я, разумеется, не мог не заехать в соседнюю область и не проведать своего крёстного. Жили они в Днепропетровске на улице Строителей в отдельной трёхкомнатной квартире.

Несмотря на пенсионный возраст, мой крёстный продолжал работать. Нина Степановна находилась на заслуженном отдыхе. Я много ездил как турист по стране, видел и слышал многих экскурсоводов, но пусть не в обиду им будет сказано: лучшего экскурсовода, чем эта постаревшая, но прекрасная душой и лицом женщина, не встречал.

В отличие от Запорожья, в Днепропетровске я оказался впервые. Нина Степановна показала мне город, который она очень полюбила. До сих пор перед моим мысленным взором мелькают огни вечернего Днепропетровска. Он уже тогда был «миллионником». Достопримечательностей хватило бы для осмотра на месяц. Но не было у меня столько времени, к сожалению, поэтому пришлось ограничиться теми музеями, что мне назвала Нина Степановна.

Чувствовал себя у них в гостях как дома. Но не потому, что жил тоже в трёхкомнатной квартире. Проснувшись на следующий день, обнаружил: в квартире нахожусь один. Крёстный ушёл на работу, а его жена — на рынок: хотелось ей побаловать меня свежими продуктами, сварить украинский борщ, испечь галушки. Сколько ни пытались готовить это традиционное украинское блюдо в Тольятти, не получалось оно таким ароматным. Или это «запах» моих далёких, почти детских, воспоминаний, смешавшись с любовью, заботой и добротой дорогих мне людей, сделал борщ незабываемо вкусным?

...На прощание крёстный повесил на шею мне маленький крестик, который я храню как бесценную реликвию.

27 января 2017 года

Отец

Двадцать третьего февраля 2006 года умер мой отец Алексей Ефимович. Получается, в День защитника Отечества умер защитник страны. Он служил в пограничных войсках в легендарном Бресте с марта 1950 по декабрь 1953 года.

Почти через три с половиной десятилетия после того как закончилась служба ефрейтора Панасейко, я посетил город Брест и легендарную крепость.

Когда я ходил по крепости, то представлял, что где-то тут защищал границу мой отец. Я словно ходил по его следам. Связь времён не прервалась. Всё, о чём он мне рассказывал, я увидел своими глазами.

Алексей Ефимович родился 15 сентября 1929 года на хуторе Южном. В середине пятидесятых отец, как и все хуторяне, перебрался в Новосёловку, где женился на моей маме и где родился я.

В селе поступил на работу в колхоз трактористом. Отец в шутку говорил: «Закончил четыре класса и один коридор». Доля правды в этой шутке была: дальше учиться помешала война и немецкая оккупация.

Пережил он и послевоенное не менее тяжёлое время, голод 1946 — 1947 годов, в частности. До конца своей жизни боялся новой войны. Сколько лет уж после Победы прошло, а он всё старался запастись солью, спичками, сахаром впрок. Так глубоко в его память вошла та война.

Имея лишь начальное образование, отец тем не менее неплохо разбирался в политике. Боготворил Брежнева, который большой войны не допустил, и в то же время осуждал его за участие в боевых действиях в Афганистане.

Когда я его спрашивал, откуда такие знания в политике, отвечал с гордостью: «С армейских политзанятий». Он, конечно, недоговаривал: всю жизнь в свободное время слушал радиостанцию «Маяк». Разумеется, слушал новости. Книг особо читать не любил, но, помнится, «Щит и меч» Вадима Кожевникова прочитал дважды. Любил книги о разведчиках. Как, впрочем, и фильмы о них. Когда в 1973 году по телевидению показывали «Семнадцать мгновений весны», оторвать его от телевизора было невозможно.

Переехав с Украины на берега Волги, отец устроился на Волжский автозавод, где проработал в одной бригаде и одном цехе до ухода на заслуженный отдых. Кстати, после наступления пенсионного возраста ещё три года продолжал трудиться на Волжском автогиганте.

Сидеть «на печке», как пенсионер, он не стал: его потянуло вновь к земле. Пока позволяло здоровье, трудился на даче. Очень тосковал по своему огороду на Украине, который всегда был в образцовом порядке. Но в 1969 году родители вышли из колхоза, и сразу же по решению правления нам отрезали огород, оставив какой-то жалкий клочок земли под окнами дома.

Отец поступил электриком на местную подстанцию, мама работала в больнице медсестрой, мы с братом продолжали учиться в сельской восьмилетней школе. Казалось бы, живи и радуйся. Однако хладнокровно наблюдать, как на возделанной тобой земле теперь работают чужие люди, а ты не имеешь права и близко подойти к тому участку, который десятилетиями был твоим, было выше всяких возможностей человеческих. И мы уехали. Навсегда.

На закате жизни отец болел болезнью Паркинсона, стал инвалидом первой группы, был прикован к постели. Последние полгода перед смертью он уже бредил, вспоминая своё детство. Я много слышал ранее о том, что в такой ситуации человек вспоминает то, что в нормальном состоянии не вспомнил бы. И убедился в этом сам.

Особенно интересно было слышать от него, как в пору его детства выглядел хутор. Интересно, но и печально, с другой стороны. Меня он не замечал, а рассказывая, обращался к своим родителям, как к живым. Теперь, вот уже ровно десять лет, нет в живых и его самого. Но память о себе он оставил светлую. К сожалению, этих моих слов об отце не может повторить мой брат Федя. Двенадцатого апреля будет ровно год, как его не стало. Их души встретились на Небесах.

23 февраля 2016 года

Тётя Галя

В Запорожье до сих пор живёт Галина Ивановна Лелюк (Тарасенко) — моя тётя. В раннем детстве, как я уже упоминал, девочка лишилась матери. Вскоре началась война, отец ушёл на фронт, где и пал смертью храбрых. Сироту Галю забрали к себе на воспитание дедушка Савва Григорьевич и бабушка Марина Кононовна. Жили они все в Ново-Златополе.

Тётя Галя с особой теплотой и благодарностью вспоминает своего дедушку Савву за то, что он занимался с ней в школьные годы, и не без оснований считает, что только благодаря ему она окончила школу с отличием, а после, в 1944 году, очень легко поступила в транспортно-фельдшерскую школу города Запорожья и окончила её через три года.

Когда тётя Галя выходила замуж за военного лётчика Якова Лелюка, то мало себе представляла, сколько ей придётся ездить по белу свету, меняя за гарнизоном гарнизон!

Всякий раз, слушая в исполнении Яна Френкеля прекрасную песню, где есть такие слова: «Ну что тебе сказать про Сахалин?», — я только улыбаюсь. Не такая уж погода на острове «нормальная», климат там суровый.

Сейчас, открыв свой атлас, я смотрю на Сахалинскую область, расположенную на одноимённом острове, и думаю: я бы, наверное, не выдержал там и месяца, а они прожили несколько лет. Как пели когда-то: «Вода, вода, кругом вода». Тихий океан, конечно, своими волнами остров не омывает, но от этого нисколько не становится менее страшно. Волны Охотского моря и Татарского пролива всё равно «спать спокойно» не дают.

Нашёл я в атласе и Кубинку, что в Московской области. Туда тоже их забросила «лётная» судьба. Когда дядя Яша вышел в отставку, семья поселилась в Запорожье. Выбрали они этот чудесный город «за порогами» неслучайно: оба родились в Запорожской области. Тётя Галя так и продолжала работать медиком, а дядя Яша, окончив техникум, пошёл работать на завод. Жили дружно, воспитали сыновей Сашу и Валеру.

Вот только жизнь Александра рано оборвалась. Спустя несколько лет похоронила тётя Галя и мужа.

Трудная судьба её не сломила, она продолжает жить, приближаясь к своему 90-летию. Живёт за себя, мужа и старшего сына. Её бабушка Марина тоже была долгожительницей, перешагнув 90-летний рубеж. Мне очень хотелось бы, чтобы тётя не отстала от бабушки.

Она не одинока: в городе живёт младший сын (мой троюродный брат) Валера с женой Инной, сыном Денисом. Но, кажется мне, больше всего желание жить вызывает у тёти появление в квартире правнучки Маргаритки, этого маленького чуда.

Пишу эти строки, а память невольно переносит меня во вторую половину 1960-х годов. Сижу я в гостях у тёти Гали, она приходит с работы и приносит очередной том А. С. Макаренко. «Педагогическую поэму» я прочитал залпом. Книг они покупали много. Ещё бы, семья интеллигентов. Саша пошёл по стопам папы, став инженером, а Валера стал медиком.

Жили они тогда в хорошем месте, на улице Панфиловцев, недалеко от проспекта Ленина, ныне Соборного. К Днепру ездили по проспекту на трамвае. Купание в реке мне помнится до сих пор. Как и просмотр фильмов прямо во дворе дома.

Однако лучше всего запомнился мне другой случай, связанный с тётей Галей. Учился я тогда в шестом классе. После операции, проведённой в Запорожье, мне предложили два варианта: остаться в больничной палате или ходить ежедневно в больницу на процедуры. Врача устраивали оба, меня — только один: я страшно не любил больничные палаты. Этот вопрос врач решил передать на рассмотрение тёте Гале.

Можно представить, с каким нетерпением я ждал вечером её появления. Без лишних слов она забрала меня к себе домой.

Там-то, под присмотром тёти и при её непосредственном участии, я быстро пошёл на поправку и уже вскоре вернулся в Малиновку (которая прежде была Новосёловкой, а ещё раньше — Туркеновкой).

После переезда в Россию в 1971 году наши отношения не прервались. Переписка по почте продолжалась до тех пор, пока у меня не появился ноутбук с Интернетом. Связь с тётей поддерживается благодаря помощи Валеры, её сына. За что ему огромное спасибо. Не надо ждать теперь неделями ответа на письма и тревожиться за дорогих людей.

Как прекрасно, что тётя Галя, как и моя мама (её двоюродная сестра), являющиеся внучками их бабушки Марины, дожили до этого чуда техники. Даже не представляю, что об Интернете сказала бы моя прабабушка Марина? Но что-то сказала бы. Это точно! Она была весьма разговорчивая.

16 июля 2016 года

P. S.

Печальную новость я получил сегодня по электронной почте из Запорожья от моего троюродного брата Лелюк Валеры. Вчера, 19 мая, в 15:00, в возрасте 89 лет умерла его мама, а моя любимая тётя Галя.

20 мая 2018 года

Мама

«Семейный альбом» получился бы неполным без самого дорогого для меня человека — моей мамы Елены Семёновны.

Родилась мама в 1936 году. Восьмого января мы её поздравили с 83-летием и пожелали долгих-долгих лет жизни. Мама этого заслуживает!

Когда началась Великая Отечественная война, ей исполнилось пять с половиной лет. Однако ужасы немецкой оккупации она запомнила на всю жизнь. Только стремительное наступление танкистов одного из советских батальонов предотвратило трагедию в селе. Немцы согнали жителей в школу и планировали её поджечь.

После войны мама была в местном колхозе дояркой. Работала добросовестно, об этом свидетельствует медаль «За трудовое отличие». Односельчане избирали её депутатом сельского Совета и членом правления колхоза.

Сама мама окончила семь классов (тогда в селе восьмилетки не было), пыталась поступить в техникум, но не позволило материальное положение её мамы. Отец к тому времени, как я уже рассказывал, из семьи ушёл и помощи никакой не оказывал. А как без финансовой поддержки родителей можно было уехать в чужой город и строить там жизнь, получая только стипендию и не имея угла?

Мечта об образовании не осуществилась, но мама загорелась идеей выучить нас с братом.

Это была ещё одна причина, по которой мы в 1971 году оставили навсегда родное село и уехали в город. Забегая вперёд, скажу: мечта мамы сбылась. Я окончил единственный тогда в Куйбышеве университет, а брат — техникум.

Переехав в город Тольятти, мама устроилась на Волжский автозавод, где работала маляром двадцать лет в одной бригаде и в одном цехе. Долго в цехе покраски автомобилей люди не задерживались: дышать просто там нечем. Мама же такой человек: если пришла куда работать, так там и останется.

А ещё мама очень неконфликтный человек. Где бы она ни трудилась и ни жила, всегда находила общий язык с окружающими. Мне запомнилось два случая.

В марте 1972 года я перешёл в другую школу в связи с переменой места жительства: нам дали комнату в коммунальной квартире. В первый же день писал сочинение по русской литературе. Получил три с минусом. Причина была в том, что в предыдущей школе мы это произведение ещё не проходили. Не разобравшись, учительница русского языка в тот же день на родительском собрании отругала маму. Оправдываться мама не стала, но и смолчать не могла, поэтому ответила: «Не знаю, почему он получил три с минусом, в предыдущих двух школах он писал сочинения на пятёрку». Учительница со временем разобралась, в чём была причина моего неуспеха, и извинилась перед мамой за несправедливые упрёки в том, что за учёбой сына родители не следят.

И ещё один эпизод. Всех работников, устраивающихся тогда на Волжский автозавод, для начала поселяли в коммунальные квартиры. Отдельное жильё сотрудники получали позже. Не избежали участи жить в коммуналке и мы. В четырёхкомнатной квартире проживали с нами ещё две семьи. Вскоре одна семья выехала. На её место заселилась другая.

Слухом земля полнится, вот и до нас дошла весть о том, что подселили к нам не просто семью, а, если сказать по-русски, семью-хулиганку. Доходило дело не только до рукоприкладства, но и до отмечания мелом на полу в коридоре и кухне «траекторий» передвижения жильцов.

Зная об этом, моя мама всех собрала и сказала: «Что у вас там было, забудьте. У нас тут другие порядки. Будем жить дружно». И что вы думаете, жили все душа в душу.

С 1991 года мама находится на заслуженном отдыхе. Пока позволяло здоровье, работала на даче. Как-никак родилась в селе, на земле. Увы, последние несколько лет она об этом только с грустью вспоминает. Не может добраться до дачи. А виной всему ноги, которые не хотят её слушаться.

В Новосёловке ферма находилась от нашего дома на расстоянии трёх километров. Три раза в день мама проделывала путь до фермы и обратно (коров доили три раза в день), то есть ежедневно она проходила 18 километров. И это в любую погоду: и в жару, и в стужу, и в дождь. Вот и болят перетруженные с молодости ноги.

Конечно, тяжела доля сельских жителей, но и жаловаться они не привыкли, и прекрасно понимали, что легче судьбы не найти было в ту пору на селе.

Сильно подорвала здоровье мамы внезапная смерть от инсульта моего брата Феди.

Но мама взяла себя в руки и продолжает жить и хранить память об ушедшем безвременно сыне и муже.

Своё время мама проводит в основном у телевизора. Любит смотреть советские фильмы и хорошие современные сериалы. Телевизор у неё в основном настроен на канал «Русский роман». Это, пожалуй, единственный канал, где можно пожилому человеку просматривать любимые с молодости фильмы и вспоминать свою, богатую событиями, жизнь. Не простую, но очень правильную и достойную уважения.

***

...Много людей растило меня, так или иначе внося свой вклад в моё воспитание, формирование жизненной позиции и мировоззрения. Это и упомянутые здесь мои родственники, и моя крёстная Зоя Кошарная, и дядя, Яков Ефимович, и другой дядя, Юлий Иванович. Всем сегодня кланяюсь в пояс и говорю сердечное спасибо, потому что без них не было бы у меня таких надёжных мощных корней, не стоял бы так крепко на земле вопреки всем трудностям и невзгодам.

01.02.2019

Георгий Петров

г. Москва

В СНЕГАХ

Рассказ-быль

— А ты не ругайся, Анюта, не ругайся. Никакой я не пьяный, а так — выпивши. Ну и что из того, что Эрих не выпивал со мной? Он ни с кем не выпивал, а не только со мной.

Имею я право посидеть с ним в последнюю его ночь на этой земле? Скажу тебе прямо: имею! Все подтвердят, да и ты знаешь, что мы с ним в хороших отношениях, почитай, тридцать лет уже. Не всякие таким могут похвалиться. Друг ему я получился. Вплоть до того, что я именно его из вертолёта выносил. А сюда кто его привёз? А гроб без меня тебе бы сделали? Твердишь вот, сделали бы да сделали бы... Нет! Не сделали бы.

Да что ты про зверопромхоз талдычишь? В столярке нашей без моего слова неделю бы сколачивали. А через меня — так за полдня. И доски, вишь, хорошие, сухие, и размер в самый раз. Вот то-то. И лапника для венков заготовил кто? Дух-то в избе какой пихтовый. И могилку помогал.

Ну, не серчай, Анюта! Недолго я. Поговорю вот. Мне ведь не привыкать к такому повороту, что он молчит, а я говорю. С Эрихом, когда целый сезон рядом охотились, так завсегда и было.

Как когда? Забыла уж? Да в тот год, как Терешкова полетела. У меня тогда враз три избушки сожгли, вот тогда с Эрихом и договорились, сошлись, взял он меня на свои угодья.

Так я и говорю, что у меня с ним так и было. Споначалу у нас с ним разговор кувыркался, как белка подбитая с кедра падает. Разговариваем вроде, вдвоём же. А говорил я, считай, один. Потом привык я. Он только буркнет что-нибудь, хмыкнет, а то глянет, а мне и понятно всё. Согласен ли он, не согласен, какая у него точка то есть зрения на всё, о чём говорим.

Дай табуретку-то. Во, руку Эриха узнаю. Ладная какая — и лёгкая, прочная. Вот тут, рядышком с ним, и посижу.

Права ты, права — не брат он мне и не сват. А ты как думаешь — брат самый что ни на есть дорогой человек бывает, близкий самый? Не кровь ведь роднит, а это... как тебе сказать... душа близкая, вот. Родной мне Эрих человек через душу.

Понимал я его, ох как понимал. Даром, что он всё молчуном. Он более, чем говоруны всякие, смысла в делах имел. На душу его через дела смотреть надо, через отношения ко всяким людям. Вот к тебе, к примеру. Успел он тебя обидеть? Обижал? Нет. А Октябрину хоть раз попрекнул? А дочку её Ольгу? А собак своих Мару и Рахваса? Вот то-то. А видела ты ещё кого, кто любил бы дитя, как Эрих сынка своего? Ну и сын у него был! Чистая ртуть, и всё тут. А умный какой! Такие раз в сто лет рождаются.

Да. Через душу его, через жизни наши схожие мы и стали с ним как родные. Посижу я тут рядышком. Не серчай, Анюта, не серчай. Да не клонюсь я, не клонюсь. Я тихо буду. Вот, гляди, свечка под образом не возмущает пламени своего. Значит — не пьяный я. А икону нашу почему ему поставила? Христианин он тоже был, говоришь? Ну тогда ладно.

Так я про обиду, Эрих. Помучился ты за свою жизнь, ох и помучился. Жизнь тебя крепко на поворотах своих зацепляла. Теперь-то тебе легче. Вон и морщинка в переносице распрямилась, лицо посветлело вроде. Похоже, облегчение тебе наступило.

Вот все мы так. Живём и думаем: хорошо-то как, живём ведь. Другие, дескать, в землице уже, а ты вроде как живой ещё. И не знаем, где радости больше — тут ли мытариться, от жизни чего-то ожидая, вроде манны небесной. Или упокоиться, вот как ты. Именно — как ты! Без болезней, без врачей наших коновалов, а разом, в одночасье, от сердца то есть. Почитай, на работе прямо, как в газетах средка пишут: при исполнении.

А как же — на работе! Вертолётом его, Анюта, на зимовье забрасывали, на рыбалку летнюю. Да что я тебе рассказываю, ты же его собирала. И вот на тебе: сердце у тебя

выключилось. Как прожил ты жизнь свою, от людей устранившись, так и усоп, расстался с жизнью без свидетелей. Лётчик-то его увидел, что он неживой, когда к избушке его подлетали.

Эрих, скажу тебе, что думаю. Похожие у нас с тобой жизни. Только постарше я чуточку, вот и войны ухватил. Немного, правда. Под Харьковом свой последний бой держал. За державу, как говорят. А в плену, вишь ты, больше воевал. Бежал два раза, прятался, а без толку всё. Суета это всё была. Нас в Польше как наши освободили, так прямиком сюда, на сибирскую землю, на родину мою и повезли. Из плена, где в колючке сидели, да в лагерь, тоже за колючку. Помнишь, Эрих, как нас в лагере шпана всякая называла? Вы, дескать, изменники родины, что в плену оказались. А разобраться, кто довёл солдата нашего до плена, так тогда другое окажется.

Да рассказывал я тебе всё в подробностях в ту зимовку на Чапе, помнишь?

А ты всё ж таки на немцев смахиваешь! Я как на лицо твоё гляну, всё плен вспоминаю. А вот злобы на тебя не имею. Хоть похож ты и говором на них. Скажу тебе так — маловато пришлось тебе на охоте говорить-то на русском. Только разве что с собаками. А шут его знает, по-русски ты с ними беседовал или не по-русски.

Да знаю я, Анюта, что эстонец он. Ты меня не путай. Не считай за бестолочь какую. Я ж сказал, что на немцев он только смахивает. А мне и неважно, немец ли он, эстонец или мордвин какой. А что он эстонец, так я от него самого знаю. Эрих мне сам про то сказывал, как у нас в Сибири оказался.

Коллективизацию у них сплошную после войны устроили, как у нас в тридцатых. Я-то вот хлебанул колхозной жизни до войны. Да и ты, Анюта. А Эрих, вишь ли, не захотел.

А ты думаешь, здесь, в Сибири, обрадовались колхозам? Дыбом мужики встали, особенно которые в революцию ещё в партизанах против Колчака бились. Позабирали их, а других чтоб запугать — аж Будённого из Москвы прислали. Я мальчишкой был ещё, помню, как по Пашенной улице его люди костры жгли по ночам, песни пели. Нам-то, юнцам, интересно. Не понял я тогда, почему батя крепкими словами

выражался о приезде тех гитаторов за колхоз. Уж потом в армии уразумел — силком колхозы делали. Да и у них в Эстонии, видно, так же силком.

Анюта, посекретничаю с тобой. Он мне под настроение про жизнь в молодости своей рассказывал, про деревню свою Раквере вспоминал, про крепость тамошнюю. Вишь, как дело повернулось. Не захотел ты чужих порядков на своей земле в Раквере — и тут вот оказался, вплоть до этой избы. Во как в жизни получается! А ещё раз про «двадцатку» какую-то обмолвился. Жалко, дескать, что мальчишкой в его «двадцатку» не пошёл. Только не понял я тебя. А спрашивать не стал — раз не говоришь сам, то и мне в душу лезть ни к чему.

Жилкин-то — Анюта, Жилкина помнишь из райцентра? — приезжал после нашей с тобой, Эрих, совместной охоты и все жилы, пацкуда, из меня тянул. Дескать, не рассказывал ли Эрих Коль, как с фашистами работал? А я возьми да и скажи этому Жилкину, что если Эрих то есть Коль с немцами, как где-то считают, работал, так отсидел он своё. Это так, к слову. А если бы взаправду работал, так, скорее, и уехал бы с ними. В сорок четвёртом. Вот как уел я Жилкина! Тогда только он и отстал от меня.

Хоть ты, злился он, и боевой солдат, и фронт прошёл, а всё ж таки тебя правильно в лагеря отправили. Из одной ты, говорит он мне, это я, значит! — из одной с Эрихом компании. Гады, дескать, мы. На это намекнуть хотел. Эх, попадись нам такой, как Жилкин, в Соврудника, в лагере, мы бы мозги ему направили. Мы бы ему показали!..

Всё-всё, не буду, Анюта, орать. Да и не ору я. Вот Эрих подтвердит. Лежи, лежи, Эрих, только вот дай молитву поправлю. Держишь в руках, будто мне даёшь. Рано мне, не готов я к смертному часу-то.

Ну вот, Эрих. Ты в зверопромхозе с пятьдесят девятого. Так? Я уж до того времени пять годков здесь отработал, в передовых себя числил. А через три сезона ты, Эрих, обошёл меня. 61 соболь! Да без малого три сотни белок за сезон! Все тогда рты и поразевали, когда итог объявили. А унизить тебя Жилкин всё ж нашёл-таки способ — за полцены да за четверть цены велел брать твои шкурки. Видел ты

несправедливость эту да молчал. А нас, охотников, кто послушает?

Ты, Анюта, знаешь, сколько это надо сил, чтоб столько, как Эрих, добыть? А-а-а, то-то, не знаешь. А я знаю. Соболя да белки — это ещё не всё. Сохатого завалил, разделал да из тайги выволок, чтоб вертолётом забрали. А летом сколько трав и ягод сдал, а рыбы сколько наловил, рябчиков да косачей настрелял.

В тот год сил надо было особенно много. Зима была, как сейчас помню, самая что ни на есть снежная. В сентябре ещё, а снег так повалил, что даже я, сибирского роду-племени, в жизни своей никогда не видывал. Земля ещё тёплая — заморозков-то так и не было, — а он валит да валит такими вот, с ладонь, хлопьями. Да, Анюта, с ладонь. А может, и с шапку. Ровно из подушек вспоротых Бог землю усыпал. Хошь верь, хошь нет — таять не успевает, а всё валит и валит. Земля, мне тогда почудилось, в забытьё от такой напасти впала, вроде как спелёнутая корчится, а молчит. Траву и кусты на открытых местах прикрывает, прикрывает, а на деревьях — ровно крыша сплошная, аж темно. А потом морозы ударили. Пустоты под снегом образовались. На брусничниках в таких пустотах под снегом ягоду можно было брать. Не веришь? Вот те крест, Анюта!

Ну и не верь, раз не хочешь. Эрих вот не даст соврать. Так было, Эрих? Молчит, не отвечает, а лицом вроде оживился. Приятное я тебе напомнил. Понятливый. Понятливый и сильный. Сильный был мужик. Без боли, слабостей и страхов ты с жизнью расстался. Потому и лежишь такой спокойный.

Так я что скажу тебе, Анюта. Ты бы это... налила бы полстаканчика. На похороны три ящика водки тебе ведь выделили, а? Как кто сказал? Сама Нинка, продавщица. Всё бесилась, что весь остаток запасов тебе отдали. Она, видно, в загашник спрятать не успела. Сельсовет ведь распорядился. А завоз водки только через неделю. У меня ведь есть дома, да не идти же мне сейчас домой!

Да налей, налей. Да в два стакана. Что ж ты такая непонятливая? Эриху и мне. Да нет, его стакан не трону. Своё только выпью, помяну.

А! Хороша брусничка!

Эрих ещё собирал? Царство ему Небесное. Вишь, до июня сохранилась в целости. Осенью я тебе наберу ведро. Сказал — сделаю! А с дровами у тебя как? А то заготовлю, слышь?

Да, нынче-то шесть десятков соболей никто за сезон не отстреливает. Тайга стала ровно оскоплённая да оглушённая. И сезон вроде хороший, и шишка кедровая ещё бывает. И ягода в ягодных местах есть, а зверя совсем мало стало.

Кто, это я стал старый, что ли? Ты думаешь, что говоришь-то!

Это соболь стал хилый. Ране-то кота подстрелишь — шкурка в полметра да хвост вполовину. А теперь зверь ледащий, чуть не вдвое меньше. И больше рыжеватый. А тогда-то тёмный, чуть ли не чёрный мех был. Ну вот как небо за окном.

Переживал Эрих, а не только я, что охота бедная да скучная становится. Мучило это его. Даже больше того мучило, что за все эти годы его как лучшего охотника так и не признали. Ровно не было его — и всё тут. Считалось: лучший охотник обязательно из надёжных людей, коммунистов то есть, быть может. К примеру, Туесок. Его, этого Туескова, сколько лет в лучших держали? Два ордена дали и медаль, а того знать не хотели, что хапуга он был, нашими словами говоря.

Издевался, можно сказать, над тайгой, да и мех налево сбывал. Как такого в лучших числили? Тыщу способов находили, чтоб таких, как мы с Эрихом, унизить без слов, в душу плюнуть. На медаль, шумели, представляем вас с Эрихом! А потом шепотком до нас доходит: не прошли, дескать, документы. Не будет вам наград. А то мы без них с Эрихом не проживём! И на слётах охотников про нас ни слова! Минский после слёта всегда подойдёт, после стаканчика вроде извиняется — не велели, дескать, упоминать в докладе. Ну я его матерком и успокаивал, чтоб не мучился совестью.

Вот те раз — опять в голову Жилкин лезет со своим «из одной вы с Эрихом шатии-братии». А он, Жилкин, да Туесков из друзей товарищей-коммунистов, стало быть. Другого, значит, розлива, другой, выходит, шатии-братии. Ах, так-растак!

Прости, Господи! С другом своим прощаюсь, а говорю о бестолковом, мнится что попало.

Сердце твоё, Эрих, выдержать и такое сумело. Не тогда оно надорвалось, когда тебя не замечали как охотника лучшего. И не раньше, когда в лагерях ты был. И не на драге, для которой дрова пилил сколько зим после лагерей, когда присудили тебе высылку. И не тогда вовсе, когда не захотел ты поехать в свою Ракверу. Брат-то твой сродный, говорил ты мне, в правительстве эстонском чуть ли не министром был. Ты, Эрих, поди, не хотел пятно на него своим приездом из ссылки сибирской бросить. Вишь как получилось: признал твой братец — и министром стал. А ты не признал — вот и в Сибирь угодил.

А что — и здесь люди живут, всех обиженных привечают, никому плохого не делают. Полюбил ты землю нашу, природу и людей наших. Не обижался, если что не так.

А надорвалось твоё сердце, Эрих, я знаю, когда. Это в тот раз, когда с сынком твоим Эмилем всё и случилось.

Уж как ты выпрямился, когда у вас с Октябриной он родился! Сколько тебе тогда было? За пятьдесят, получается. Крепко, видно, ты Октябрину уговаривал, если она в сорок четыре родить согласилась. У неё ведь к тому времени внуку от дочери её, а твоей падчерицы Ольги, уже три года было. А тут снова — молодая мать! А решилась, хоть и разговоры по деревне пошли. Все с улыбочками да намёками несправедливыми. Я-то укорот давал самым ехидным, матом их посылал. Потому как знаю, как человеку, мужику то есть, сына надо иметь обязательно. Хоть и в такие-то годы.

В аккурат под Новый год прилетели мы в посёлок со своих зимовий, а тебе тут и новость: Эмиль, твой малыш пятилетний, в сугробе задохнулся! Что да как там получилось — никому и сейчас не ясно. Эмиль всё играл со старшими ребятами — такой он толковый и рассудительный. Со сверстниками ему, поди, скушно. Ребятишки и рассказали, что в тот день они с крыши складов в снег прыгали. Там сугроб наметает — что второй склад! Вот они его и подзадоривали: а отсюда прыгнуть сможешь? А отсюда? Он, как и ты, гордый ведь был, не мог в их глазах на попятную. Отовсюду наравне с ними

и прыгал в снег. А к вечеру, когда старшие навозились в снегу да по домам разошлись, не обратили виду, что Мильки с ними нет. А он, поди, в последний разок решил прыгнуть, да зацепился, видно, штаниной и в двухметровый сугроб не ногами, а головой и угодил. Испугался, поди, захолонуло его сердечко, вот и задохнулся. Так, сказывают, и нашли его. Ночью уже.

Октябрина, Царство ей Небесное, тоже не вынесла того, что мальчонку не уберегла, совесть, значит, её замучила. Враз почернела, всё убивалась над сынулёнком своим Милечкой, ну а к похоронам и ты прилетел из тайги.

Помнишь, вся школа санаторно-лесная, где Октябрина работала, на похороны пришла. Любили её, работящую, все до единого в той школе. И Мильку любили — он всё при ней в школе был, убираться помогал. Да что школа — половина посёлка пришла тогда. А энергоцех — так они свой духовой оркестр прислали. Играли, помнишь, Эрих, бесплатно, не взяли денег с тебя. А потому что — уважали!

Мороз был за тридцать. Только и согласились прийти к столу, выпили для сугреву спирту да пельмешками закусили. Ты тогда за столом обмерший какой-то сидел, не замечал вокруг никого, как тебя ни шевелили.

Ну вот, и небо уже завиднелось. Коротки теперь ночи. Так коротки, как на охоте, бывало, день казался.

Анюта, слышь, так я выпью ещё? Не зуди, я глоток сделаю, не стану всё сразу. Вот, смотри. Глоток только и сделал.

Да, похороны Мили памятные вышли. Даже газета в райцентре соболезнование Эриху поместила. Так, мол, и так, все охотники печалятся и соболезнование переживают отцу и матери из-за трагической гибели их сына Эмиля Эриховича Коля.

Такое наш «Северный охотник» печатал только Насте Бурмакиной да старикам Яковенкам, когда на их сыновей похоронки приходили из Афгана. А Насте Бурмакиной — так и гроб не привезли с сыном. Нечего было везти — такое ей военком в райцентре объяснение дал. А не стал говорить, зачем в Афган ребят посылали? Жизнь там красивую, вроде нашей, наладить хотели, что ли?

Это так получается. К примеру, поругаются муж с женой в доме, а тут чужак со стороны придёт — давайте, дескать, наведу у вас порядок. Так и солдаты наши, выходит, порядок в чужой семье установить хотели. Ни к чему это — лезть в чужую жизнь-то.

Тоже сказать про Настю — как могло ТАКОЕ пережить её сердце? А — пережила. Вот Октябрина не могла. Только могилка Милина травкой к лету покрылась, так и Октябрину рядом в землю положили. И ты, Эрих, там же, рядышком будешь. Я уж позаботился о могилке. Душа в душу вы с ней прожили, ты Ольгу помог ей поднять, не родная она тебе, а помог. В люди вывести — вон в крайцентре институт кончила, замуж хорошо вышла, дочку воспитывает. Дочка — оно надёжней, чем сын-то, это я по себе знаю. Да я тебе рассказывал, что уж тут рассусоливать.

А второй удар сердцу твоему через три года после похорон получился. Вы уж с Аннушкой сошлись, век решили коротать вместе.

Анюта, про тебя разговор-то, послушала бы.

Приходит как-то по осени ко мне Эрих — это перед тем как в тайгу улетать — и объявляет, чтоб теперь я за избой его не смотрел, когда он охотиться улетит. Анну, дескать, попросил. Она, говорит, по соседству, ей и сподручней. Так, Анюта?

Он тебя Анной называл. Серьёзные на тебя виды имел, с уважением относился, хоть ещё и не сошлись вы тогда. А ты, чует моё сердце, довольная была, хоть и скрывала. А? Так я говорю? Да не стучи ты ножом, успеешь ещё наготовить. С нами бы поговорила. Со мной да Эрихом.

Ну ладно, не бубни. Отстану.

Да. Всю жизнь только Нюрка да Нюшка — только и слышала. А тут сразу — Анна! Для тебя имя такое, вслух сказанное, поди, как «царица». Да если б муж твой первый, Егор, хоть раз тебя так назвал, так, поди, на руках бы его носила, а? А он, вишь, какая у тебя история, выпить крепко любил, не ценил тебя, не жалел, а только обижал довольно.

Знаю я, всё знаю, и не маши на меня рукой! Мне моя Тамарка много про тебя рассказывала. А вы ведь подружки вон с какого времени!

Да, говорит, Анна за хозяйством посмотрит. Ну Анна так Анна. Понял я всё сразу, а он сватовство вроде устроил, пригласил к себе, бутылочку поставил. Душевный был, хоть и говорил в час по чайной ложке. А ты говоришь — не сват, да не брат. Очень даже сват я...

Так о чём я, Анюта? Да, о той зиме, когда собак у него волки порвали. Эрих ещё летом знал, что плохая зима будет. Осенью он полетел на свои угодья порыбачить, пока река не встанет, а потом и путики подлаживать, тропы подновлять, от валёжин да поваленных дерев освобождать, избушки подлатать, дров для каждой заготовить. А было их у него четыре. И в каждой — не поверишь, Анюта! — тапочки домашние!

Я как в первый раз у него на зимовье увидел такое — чуть с ума не свихнулся. Вот те крест. Как что такого? Мне, правда, ещё до первого раза, как я попал на охоту в его угодья, лётчики да охотовед наш Минский сказывали, что Эрих Коль в зимовье в тапочках ходит, так я не поверил. А потом и сам убедился. Скажу тебе секретно — сам так делать стал.

Ты, Анюта, на зимовьях-то бывала? Девчонкой, говоришь, перед войной? У отца? Тогдашние-то избушки с нынешними ты не ровняй. Сейчас сруб четыре на пять, да с тамбуром, сени для дров и мелочёвки разной, столик у окна, топчан к печи поближе. А главное — в зимовье ведь шкурки со зверя снимаешь, обрабатываешь их, обезжириваешь — какая тут чистота? А у Эриха — форменная чистота, теплота, хоть какой на улице мороз. И собаки тут же, мяса ждут, сил набираются. А у кого и куры бывают.

А он чинно так тапочки надевает, когда зимовье прогреется, фартук свой чистый. Тряпочки, чтоб мездру обезжиривать, все беленькие, отстиранные. Ну прямо хирург! Порядок, сама знаешь, прежде всего любил.

Ну и меня аж зависть взяла — как ладно у него всё, продуманно. Да главно-то — чисто, как у хорошей хозяйки в избе по субботам. Вот как у моей Тамары. Или, к примеру, у тебя.

Не поверишь — он и кофей умудрялся готовить. Корни одуванчика как-то обжаривал, разбивал в ступке — да и заваривал. Вот ведь что удумал! Эрих, так ведь? Про твои колбаски из зайчатины да сохатины я уж и говорить не буду.

Дай закусить, Анюта. Что-то захотелось. Ну да бог с тобой — надоел да надоел. Ты момент-то понимаешь какой? С человеком, мужем твоим законным разговариваю. Прощаюсь, прости господи.

Вот это другое дело! Так я ещё выпью. Да не сердись ты попусту.

Да, так я, Анюта, всё до собак не дойду, до Мары и Рахваса. Он с ними десять сезонов охотился. Лайки как лайки, а звал он их по-своему, поди, по-эстонски. Так в тот сезон, опять же на Новый год, нас опять на вертолётах сюда свезли с угодий. Собак кто с собой привозил, кто так оставлял. Тушек белок да соболей накидаешь — собаки и дожидаются хозяина, а то и сами промышляют. Зимовье, опять же, оберегают от всяких случайностей, шатунов всяких, таких вот прощелыг, что избушки мои сожгли.

Эрих тогда, как встретились, сказал, что плохо, когда Рождество чёрное наступило, без снега то есть. У них ведь Рождество раньше нашего. Я и пошутил, что до нашего Рождества снег, дескать, ещё выпадет. Осерчал он тогда на мою шутку, сказал, что по их приметам чёрное Рождество и год чёрный сулит. Весомо так сказал, со значением. Видно, предчувствовал недоброе.

А оно и случилось! Обратно забрасывали его в тайгу, охотовед Володька Минский полетел с ним. Он и рассказал.

Подлетели к зимовью, подходят, а их Мара и Рахвас не встречают. Они к избушке — а там и увидели остатки собачьи от волков. Стаей, видно было, набросились — кости да куски шкуры. Он Мару и Рахваса узнал всё ж таки. Наизусть ведь знал каждую их шерстинку, столько охот с ними прошёл, в каких переделках с ними выжил!

Вот тебе и ещё один удар по сердцу твоему, Эрих. Что за охотник без собак, да ещё таких, как у тебя? Они же, знаю, не только зверя помогали добывать. Они ж тебя от смерти спасли.

Анюта, а слышала ты историю ту?

А я тебе расскажу. Так вот, гнался он за соболем, а начале сезона это было, лед ещё не установился как следует, а мороз уже ударил нешуточный. И на Поное он и провалился под лёд, снегом густо присыпанный. Выбраться-то выбрался, и лыжи, камусом подбитые, сбросить сумел. А уж вечерело, мороз, поди, за двадцать, а до зимовья ближнего километров десять.

Што вот ты сделала бы, а? Вот и я охотник, а такого бы не придумал, как он. Ремешками, как мог, собак связал под передние лапы, под мышками собачьими, и на себя взгромоздил. Мару спереди повесил, Рахваса — на спину. А собачий мех, сама знаешь, одно только, что от мороза в таком деле помочь может. А собаки его слушаются, не вырываются. Чуяли, видно, что это один способ хозяина спасти, лёгкие его уберечь да от смерти спасти. Ноги-то у него в чулках из шкуры, хоть мокрые, да на ходу и согрелись. Пошёл он. Говорил, тяжело поначалу было, да согрелся быстро. Вот так Мара и Рахвас спасли жизнь ему.

А он, получается, бросил их на растерзание.

Вот и заела его совесть, новая рана на сердце получилась. А может, и места для раны на сердце его уже не было. Ведь его, лучшего из здешних охотников, за год до этого на пенсию спровадили. Нет, охоты не лишили, а заставили нештатным стать. Дескать, молодым надо место в штате уступать. Да было бы кому, Анюта!

Ладно, я ушёл из охотников. То к сыновьям в гости съезжу, то с внуками здесь летом повожусь — всё ж развлечение.

А у Эриха смысл жизни один оставался — охота! Он мне так говорил. Дескать, тяжёлая это работа, а всё одно — радостная. Хоть и трудно уже ему давалась. Всё на ноги жаловался — тяжелеют, мол. А это не ноги тяжелели, это сердце слабело. Я так думаю. Надорванное оно у тебя было.

В вертолёте, так думаю, как пошёл он на снижение к зимовью твоему, вспомнил, поди, жизнь свою, судьбу свою обделённую. Тут сердце твоё и не выдержало. Всех обид да испытаний не выдержало. Да ещё, как подумаешь, вдали от родной земли-то.

Мы-то здесь, в Сибири, Эрих, всё ж таки дома. Вот как деревья в тайге, когда гроза случается или ветер ураганный налетает. Кажется, вот-вот рухнем разом, стонем под ударами

судьбы, клонимся донизу, а не падаем. Вот остановится вроде ветер, и мы, облегчение почуяв, сызнова распрямляемся. А потом снова нас прижимает аж головой до земли. А всё ж выпрямляемся. Потому как — вместе! Корнями за землю свою держимся, вот и не сломит нас ништо.

А ты, Эрих, — жалко мне тебя — хоть и крепким был, да поодаль стоял от родной земли то есть. Трудно тебе было, хоть и любил ты тайгу, всю нашу природу, да к людям нашим уважительно относился.

Понимал я тебя. Очень понимал. Помочь только мало сумел, уж прости ты меня. Вот как поставлю себя на твоё место, чтобы жить где-то, да чтоб косились на тебя власти, вроде как осуждали — а такое, Эрих, было у немногих, — нет, не смог бы я такое пережить. Я тебя понимал да растолковать всё это не мог. Прости, если можешь.

Ну вот, Анюта, и поговорил я с другом своим Эрихом. Стаканы-то убери, а то Тамара моя царица придёт за мной, стыдить начнёт, бессовестным назовёт. Горе, скажет, у Анны, поплакать ей надо наедине с Эрихом.

А мы вместе и поплакали с тобой. Гляди, платок-то мой весь мокрый.

Вроде как прохудились глаза. Уж и забыл, когда так-то вот... А — полегчало.

Не об Эрихе, похоже, мы с тобой, Анюта, плакали, не его, кажись, жалели. А себе сердце сжимали, о себе, получается, плакали, о своей жизни то есть.

Так, Анюта? Ну, пошёл я.

пос. Северо-Енисейский, 1978 г. — Москва, 1989 г.

«ЖИТЬ ОХОТА!»

Воспоминание

Оно меня мучило много лет — с давнего памятного душного июльского дня 19.. года, когда я уехал из дымного города на природу. Я пытался уже однажды отделаться от него, этого воспоминания, излив на бумаге, но оно стало более навязчивым, мешающим — наверно, именно потому, что я хотел от него отделаться, отправить в самостоятельную жизнь и тем самым облегчить свою память. Но давняя история снова и снова не давала мне покоя, насильно поворачивала мои мысли, моё состояние к себе, словно брала меня за грудки и всё требовала и требовала иного к себе отношения.

Тогда, впервые стремясь освободиться от него, я начал было писать рассказ-быль. Попытался что-то поправить в давнем воспоминании, домыслить ситуации, сгладить пусть правдивые, но, как мне казалось, излишне драматические коллизии, излишне жестокие детали и сцены. У меня, юного и устремлённого куда-то вперёд, в голове не оставалось места для тёмных, тяжёлых, беспокойных мыслей.

Удалось мне это плохо, и я понял, что бесполезно (может, до поры до времени?) досочинять к истории что-то. Драгоценный камень хорош в оправе. Но и без неё он остаётся не менее ценным. А тем более не потерпит приклеивания к себе других кристалликов, какими красивыми бы они ни были.

Итак, вернёмся в тот жаркий день.

Народу в воскресной электричке, шедшей утром из города в восточном направлении, было, что называется, битком. За городом — множество участков, как сейчас бы сказали, дач и дачек, да и молодёжь, работающая на заводах, на день устремлялась в родные деревушки и на родные станции в родные свои дома.

За город я ехал один. Ни на какую дачу, ни к кому в гости. Ехал на своё любимое место отдыха, на станцию Таёжная. Как ни удивлялась моя мама этим поездкам, она всегда с вечера укладывала в рюкзачок всё, что мне могло понадобиться среди тайги. Оставалось сунуть в рюкзак блокнот, ручку или карандаш да во внешний карман рюкзака определить обмотанный тряпицей топорик, оставив выглядывать только топорище. Утром она меня будила, обязательно наказывала мне всякие предостережения и выходила проводить за калитку дома на окраине города.

Улицы в Первомайском посёлке ещё спали. Рубашка холодила кожу, раннее солнце словно подталкивало меня и уже пыталось согреть ткань на спине и волосы на затылке.

У платформы уже топталось немало будущих попутчиков, а электричка из города подходила и вовсе полная разговорами, шутками, песнями, рюкзаками, сумками. Шипя, хлюпали двери вагонов, и народ из города мчал на природу.

День только начинался, и хотя в окна вагонов пока ещё лился прохладный воздух, уже по тому, как голубо светилось небо, как раннее солнце уже сейчас грело кожу, можно было предсказать дневной зной.

Где-то за Маганском, до платформы Шушун (по названию речушки), в вагонах становилось просторно, а станция Сорокино и вовсе высасывала из электрички большинство ехавшего люда. Следующей была Таёжная.

Уж не знаю, из чего исходили те, кто строил Транссиб, когда давали имена станциям и полустанкам. По всей Сибири вдоль путей каждую станцию можно назвать таёжной; ан нет, название закрепилось вот за этой только остановкой.

Народу здесь сходило немного и ещё меньше оставалось в вагонах. Мне предстояло обогнуть бугор у самой щебёночной насыпи — на нём взгромоздилось здание вокзальчика и магазин — и уходить вправо от путей, тоже в гору. Вагон я выбрал не очень удачно, и меня опережали пары, группы людей с рюкзаками и кошёлками. Дорога утягивалась в гору вдоль по улочке пристанционных домиков. Жизнь в них уже давно шла своим распорядком: кто-то ладил крышу, кто-то помогал возиться с мотоциклом, мальчишки уже затевали свои игры; кудахтали куры, хрумкали свиньи, ковыряя ещё покрытую росой траву под заплотами, а собаки нехотя приподнимали головы вслед проходящим горожанам.

Поросшая травой улочка сразу за селением превратилась и вовсе в тропку, уходившую вверх по склону. Слева разбросилось поле, справа надвигался лес. Пахнуло вольным воздухом, и лёгкие благодарно распрямились, задышали в полную силу.

Я уже обошёл всех приехавших, и только слегка согнутая спина в выгоревшей рубахе всё маячила впереди. На плече старика мерно покачивались две тяпки, аккуратно обёрнутые тряпицей. Шагал он широко, вольготно, не осматриваясь, взглядом сосредоточился на тропе, тягуном забиравшей всё вверх и вверх.

Меня разобрал мой возраст, и, как ни колотилось моё сердце от подъёму и радостных предвкушений предстоящего свидания с тайгой, я сумел обойти его по траве и снова зашагал по тропе. Краем глаза я увидел лицо соперника, наклонённое к тропе, бисеринки пота на продублённой и загоревшей коже лба — картуз у него каким-то чудом держался на затылке.

— Поди, и костёр разводить собираешься... — полуспросил мне в спину моложавый голос. Я понял, что он увидел топорище в кармане рюкзака.

— ...Раз топор-то с собой, — закончил он фразу.

Я уже знал эту дорогу — с час надо было идти по единственной этой тропе, и попутчик мне вовсе не помешал бы — и обернулся к нему.

— А разве нельзя? — неуклюже поддержал я разговор и приостановился, пока он поравнялся со мной. Он приблизился и, глянув на меня, добавил:

— Одно дело — если на ночь, если шалашик смастерить. А так, обыдёнкой — какой резон в топоре?

Я что-то буркнул ему в ответ, он уступил мне полтропы, и мы зашагали рядом, некоторое время не говоря ни слова.

— А вы, наверно, картошку окучивать?

Он кивнул в ответ.

Вот тропа стала поровнее, и сразу же начался сосновый лес. То ли от подъёма, то ли от того, что здесь было повыше, или потому, что день набирал силу, но под соснами было уже совсем тепло и даже душно — от густого смольного аромата, крепкого настоя лесного разнотравья.

Мы продолжали идти молча. Наконец мой попутчик смахнул свободной рукой пот со лба, провёл рукой у подбородка, вскинул глаза на сосны и сказал:

— Тайга — она вроде всюду одинаковая. Но вот как получается — этот смольный дух мне сразу Тасеево напоминает.

Сердце моё скакнуло: дед был моим земляком!

— Вы оттуда?

— Из самого Тасеева. А почему спрашиваешь?

— Я тоже. Родился там. А вы давно оттуда уехали?

— После войны. В сорок девятом. Сын устроился здесь работать, ну и нас со старухой забрал.

— А я родился после войны. В город отец перевёз нас за год, как Сталин умер... А где вы там жили?

— На Ёрче.

— А я с Пашенной.

— Знаю. Главная улица. Она Будённого называлась. Он то ли в тридцатом, то ли позже со своей конницей был у нас. Вроде как коллективизации помогали. Помню!

Мы смолкли, гордые славной историей своего села.

Где-то в те же дни краевые газеты вспоминали о нашем селе, о партизанской республике, об окончательном разгроме войск Колчака — отмечалась какая-то годовщина тех событий. Не вспомнить об этом я не мог.

— В газетах о Кайтымском бое пишут. Говорят, колчаковских солдат там переколотили...

— Помню. Я-то в то время пацаном был, а отец и старший брат в партизанах воевали. А я при них, но по малолетству Яковенко официально меня в отряд не брал. Это ещё до боя на Кайтыме. А уж потом и меня взяли в партизаны.

Я снова взглянул на его лицо — то ли наклонённое к тропе, то ли погружённое в те давние дни. Про Яковенко я не хотел напоминать первым, подумалось: уж не сочиняет ли попутчик про Кайтымский бой?

— Жара стояла — вот такая же. На Кайтыме-то. А бой был — я тебе скажу! Хоть всего-то по старости и не упомню.

Он замолчал, а подталкивать его мне было неловко. Я понимал, что у него перед глазами сейчас проносится многое из того, что пережилось в те жаркие дни. Боялся я одного — он спрячется за общими словами о героизме и трагизме того времени — то, что я ненасытно читал в немногих книжках. Того же Яковенко «Записки партизана», в нескольких публикациях. Но оставалось ощущение недосказанности, недоговорённости, излишней гладкости в оценке тех событий: Колчак — партизаны — борьба — победа! Мне недоставало главного: свидетельства человека, который всё видел сам. А уж поразмышлять над выводами мне хотелось самому.

— А какой-нибудь случай не припомните? Времени много прошло, я понимаю. Но самое-самое — что запомнилось?

Я поразился собственной дерзости. Попутчик мог бы отмахнуться и замкнуться. Кто я ему, чтобы из сердца самое сокровенное вынимать?

Отвечать он не торопился.

Потом, как на одном дыхании, с краткими перерывами, он поведал мне то, что на много лет затаил в глубине души. Может, и никогда не открывал никому. Уж так то, чему он стал свидетелем, отличалось от всего, что публиковалось, рассказывалось официально, что он благоразумно запрятал, затерял в своей памяти среди других событий. И вот решился.

— После того как колчаковцы Тасеево наше спалили — во второй или в третий раз — не упомню, — погнали они партизан в тайгу. Уходили мы — я уже со взрослыми был — по Кайтымской дороге. Дикая она была, таёжная, вела на Усть-Кайтым и дальше, на Троицкие солеваренные заводы. Ездили по ней, главно дело, зимой, когда болота да речушки промерзали. А летом даже вот в такую сушь грязь была несусветная, не для езды. Дерева-то там громадные, земля не просыхала.

Ну вот, дошли мы до самой речки-то, Кайтыма. Понабросали напиленных дерев через неё, но переходить не стали, только раненых переправили дальше. Яковенко командовал и обозом в сотни телег, и команды военные давал. Сказал, что бой у речки держать будем. Там поляна такая громадная перед речкой, берег крутой. Сено, как говаривали, там летом накашивали, а по зиме вывозили. А если проиграем бой колчаковцам, говорит он нам, отходить будем по переправе да и подожжём её. А сами, понятно, на Соль-Троицкие заводы.

Злость была, считай, у всех мужиков. Что колчаковцы в Тасеево, да и во всём уезде творили — не рассказать. А тебе не понять. Скот позабирали, отцов да матерей всех, кто в партизаны ушёл, порасстреляли, над девками да бабами изгалялись, сёла и деревни жгли, — старик сплюнул и ненадолго замолчал.

— Злость-то у нас была великая, а колчаковцы злее были. Чуяли свой конец — их под Красноярск уже притиснули, погнали на восток, а они здесь и безобразничали напоследок.

Говорил уж, что пацаном я тогда был, лет пятнадцать. Мне и страшно, и деваться некуда: отец-то да братан вместе, у Яковенки. Ну и я с ними.

Второй командир был Нижегородов. Он конницей нашей в боях у Тасеевой командовал. А окромя её и рота ещё была специальная, из стариков-охотников. «Серебряная» называлась, в ней все седобородые. Ружья у них свои были, чуть ли не кремнёвые, што ли. Они у нас для засад были — места тамошние знали получше всех других.

Окопались мы — всё как положено по военной науке. Ждать стали бандитов этих. Старики у нас в лесу упрятались — сзади ударить, Нижегородов за ними присматривал, чтобы в трудный момент боя подмочь.

Про сам бой рассказывать долго — нам дня разговора с тобой по этой тропе не хватит. Да и не помню я всего — не такой уж взрослый был, чтобы понимать всю пальбу-то. И сам стрелил несколько раз. Но больше боеприпасы разносил да раненых оттаскивал.

Кто тогда думал, что бой тот у Кайтыма-реки вспоминать будут почти через сорок-то лет? Просто убивали бандитов, которые безобразничали в тайге. И всё тут, — размышлял он не со мной, а больше с собой.

И продолжил:

— Ну, значит, затихло всё. У них кто живой был да посообразительней, обратно по дороге ударили, на Тасеево. Так старики из «серебряной» роты и тех почти всех положили.

Яковенко наш хозяйственный мужик был. Он из крепких середняков, умный — слов нет, его даже в Москву потом забрали, уж из Канска, где он в Советах работал. Вот он-то и решил трупами тайгу не гадить. Ну не хоронить же таких сволочей! Яковенко-то и сказал, что сжечь надо поубитых. И придумал, как.

На другой день стали мы пилить деревья, вроде как заготовлять. Самые длинные распиливали. А вот для чего: надо было

слой брёвен наложить, потом трупов бандитских, снова слой брёвен — или дров, — и опять убитых. Мужики лес заготавливают, а меня на кухню помощником определили. Вот послали меня к Кайтыму за водой. Ну, я к той переправе, которую заготовили, с двумя большими туесками и подался.

Только соскочил с обрыву к воде, как в кустах стон услышал. Трухнул немного, но стон такой жалобный, ровно зверь израненный скулит. Раздвигаю кусты у самой воды — парень раненый лежит. Глаза закрыты — поди, без сознания, а может, от боли. На ём форма добровольческая, как на многих бандитах: мы-то понасмотрелись их! А парень — ну как моего возраста, молодой совсем. Набрал я воды, соображаю, что делать с ним, а он всё стонет. Опять посмотрел я на него — у него ранение было в коленку, всё там в крови и кость белая торчит. Уж не знаю, как через наши позиции сумел прошмыгнуть. Потом я смекнул: наверно, ночью, когда наши шумели и обсуждали дневную битву, он и прополз к речке.

Я с водой к своим. Яковенке всё сказал: так, мол, и так, доброволец там раненый, на берегу, забылся от ранения. Что делать будем?

Раненый, конечно, не один он оставался раненым. Многие себя поприкончили, других мужики на лужайке постреляли. Скажешь — зверство какое, а знать надо да видеть, что они в деревнях творили. Не мы же зверствовать к ним пришли, а они к нам. Ох, что они творили! — попутчик опять сплюнул.

— Яковенко посылает ординарца своего — был такой политссыльный в этих местах, из кавказских родом, да опосля революции так и остался в Тасеево, и ещё партизан двух. Посмотреть, как и што, да и притащить парня-то. Мы на берег. Нашли. Плещем воды в лицо раненому. Тут-то он глаза и открыл. Мутные такие, больные. Смотрит на нас и говорит: жить, братцы, охота. Жить охота! Ну, понесли мы его к Яковенке. Кость-то в коленном месте и вовсе раздробленная была, держалась на порванной брючине да на жилах, а сапог волочился по траве, кровью её мочил.

Принесли в шалаш к Яковенке, а раненый сызнова без сознания стал. Потом очнулся. Яковенко всё расспрашивал:

откуда, да как, да и почему тут оказался. Парень был родом из Красноярска, у него там мать с сестрой оставались. Взял его Колчак к себе добровольцем. Яковенке так сказал: я думал, Россию буду защищать. Яковенко и спрашивает: а от кого? От нас, что ли? Так это мы Россия. Парнишка так виновато улыбнулся, сквозь боль. Грамотный он-то был, гимназию, что ли, закончил, красиво говорил, и всё плакал, когда об мамке вспоминал. Да, поди, и об ошибке своей жалел. За Россию воевать против русского народу — спятил он, что ли? А нам одно: перед нами бандит! Может, на днях издевался над какой девчонкой в деревнях, да мало ли што мог ещё творить? Что нам его слёзы? Ну, пока говорили, да он всё упрашивал в лазарет его отправить — опять же со слезами, да пить просил, — тут и убитых жечь стали.

Дорожка наша уж пошла под уклон, и шагать по тропе из-за выпучившихся корней деревьев стало труднее. Мы то и дело приостанавливались, а попутчик всё продолжал:

— Яковенко так и сказал: ну, в лазарет так в лазарет, несите, дескать, его к врачу. Двое-то партизан взяли его да понесли от шалаша, а я с ординарцем Яковенки остался. Какой такой лазарет, думаю, чего это удумали? Тут Яковенко ординарцу и говорит: а што мы с ним делать будем? Догони и скажи, пусть в костёр бросят — не жилец, дескать, он.

Побежали мы вдогонку за партизанами, что парнишку-то волочили. Ординарец им на ухо и шепнул про костёр. Они как шли мимо занявшегося костра — громадная такая груда из стволов и трупов, — так и бросили его туда. Неловко, наверно, бросили, доброволец-то и скатился с груды и, переворачиваясь с боку на бок, к нашим ногам подкатился. Лицо повернул к нам, вроде как в небо. Одежда уж горит на ём, и лицо опалённое. А глаз-то уж и нету. Лопнули глаза-то — от жары, поди, и, как пуговки, на чём-то висят — по правой щеке и по левой.

Тут мой попутчик приостановился и показал свободной рукой, как свисали лопнувшие глаза.

— Ну вот, подкатился он — мы даже назад отшагнули. А он всё шепчет сквозь опалённые губы: жить, братцы, охота, жить охота. Тут ординарец вытащил саблю — в каком-то бою трофей взял — и с акцентом говорит: а, любая, жить хочешь? Вот! — мой попутчик правой, свободной, рукой показал, как взмахнули саблей.

— И разрубил он лежащего у наших ног пацана с плеча до пояса. Трудно это, когда человек лежит, — от плеча-то до пояса. Ну а остатки мы и бросили в костёр, но подальше. А костёр-то занимался страшный, громадный. Дым валил чёрный, вонючий, всё полыхает, потрескивает, — не поднимая лица, говорил мой попутчик.

— День был, уж говорил, вот как сегодня, — старик поднял лицо к веткам сосен, сошедшимся над тропой, и глянул сквозь них в безоблачное небо, словно обращаясь к небесам и прося у Всевышнего прощения за тогдашнюю историю, свидетелем и участником которой он невольно стал. — Душный был день.

Он вдохнул полной грудью сосновый воздух, испытав, как мне показалось, облегчение от того, что избавился от давнишнего воспоминания, разделил его со мной и, наверно, ему полегчало.

Я молчал. Бесхитростно рассказанная им история о моём сверстнике из тех лет и сверстнике старика в те годы сплела нас навсегда неведомой силой. Надо ли говорить ещё что-то?

Вскоре нам с попутчиком пришло время расходиться каждому по своей тропке — ему на картофельное поле, влево, мне дальше вправо, мимо нескольких домиков безымянного селения, расположившегося в низинке, туда, подальше, на знакомую только мне стоянку среди ельника.

Я ещё о чём-то расспрашивал старика, он отвечал, где работает, где живёт, рассказывал о своей судьбе. Я достал блокнотик и даже записал его фамилию. Не знаю, правильно ли он назвался, уж не проверить — блокнот позатерялся, а в памяти имя это не удержалось.

Помню лишь тот жаркий день, густой запах сосновой смолы и неторопливые фразы своего земляка и попутчика...

Красноярск, 1964 г. — Москва, 2004г.

Любовь Потанина

п. Красногвардейский, Свердловская область

ПОВОРОТЫ СУДЬБЫ

Уже который день лил монотонный дождь, каплями застилая вагонное окно. За ним мелькали серые перелески, заброшенные и заросшие сорняками в рост человека поля. От осенних туманов и дождей мощные заросли колючек и чертополоха стояли чёрной стеной. Изредка встречались на их фоне полуразвалившиеся деревенские домишки, размытые грунтовые дороги, на которых буксовали продуктовые автолавки и школьные автобусы.

Никому, похоже, не было дела до того, попадут ли дети из отдалённых деревень сегодня на уроки и дождутся ли хлеба в своих «медвежьих углах» одинокие старики и старухи. Девчонкам и мальчишкам не впервой было голодными и уставшими возвращаться домой, так и не переступив порог школы, а малочисленные «остатки» жителей из некогда богатых сёл в такую слякотную погоду по привычке готовы были ждать приезда автолавки ещё неделю. Глубокие колеи грунтовых дорог были доверху заполнены водой и стали непроходимыми для стареньких машин. Других дорог и машин в округе не было.

Всего этого не видел единственный пассажир последнего купе в последнем вагоне поезда Хабаровск — Москва. Седовласый мужчина ещё не был стар, но всё его существо как будто замерло, оставшись где-то в прошлом. Опущенные плечи, скорбно склонённая голова, потерянный взгляд напоминали человека, оказавшегося волею злого рока на собственных похоронах. Перед ним стоял стакан давно остывшего чая. В левой руке он держал пожелтевшую фотографию, на которой вырисовывались лица молодых юноши и девушки, глаза которых весело смеялись.

Порой в его купе заглядывала проводница и предлагала «подгорячить» чай. Мужчина отвечал сухим равнодушным «Не стоит». Так прошло двое суток.

На третье утро поезд остановился на небольшой станции. Дверь купе неожиданно открылась, и в него весело впорхнула русоволосая девушка.

— Доброе утро! — улыбаясь, поздоровалась незнакомка. — Я Нина! Давно уже едете? И мне долго ехать, я — к бабушке, уже пять лет её не видела.

Появление попутчицы словно пробудило мужчину, и он ответил:

— Здравствуйте, Нина! А я Матвей Николаевич.

— Знатный дождь поливает, правда? Грибы скоро пойдут! — всё так же открыто бесхитростно улыбаясь, заметила девушка и с лёгкостью поставила свои тяжёлые сумки на верхнюю полку. В руках у неё остался небольшой свёрток. Развернув его, она достала ещё горячие пирожки.

— Угощайтесь, Матвей Николаевич! Не стесняйтесь!

Сам себе удивляясь, Матвей взял один пирожок и стал аппетитно его нажёвывать. Он смотрел на свою спутницу и не мог понять, кого она ему напоминает, но почему-то на душе сделалось уютно и светло.

— Я живу в небольшом городке: недавно сюда переехала с мужем. Он у меня военный. Вот опять в срочную командировку уехал, а я решила бабушку проведать. А вы?

— А я... — задумчиво хотел начать её собеседник, — нет, не стоит, у моей истории слишком печальный финал.

— А вы расскажите, Матвей Николаевич, — и полегчает немного на душе, — глядя прямо ему в глаза, сказала Нина.

Мужчина вздохнул и, впервые за всё время пути посмотрев в занавешенное пеленой дождя окно, как будто ища там поддержки, нерешительно начал:

— Я тоже военный, как ваш муж. Много лет назад я служил далеко от родных мест, на Дальнем Востоке... Я встретил там Тамару и полюбил её. Мы встречались с ней, а потом и жить стали вместе. Вскоре я предложил ей пожениться, а она мне ответила: «А родители твои дадут нам

благословление?» И вот в очередной отпуск я поехал к отцу с матерью за этим благословлением... — мужчина закрыл ладонью глаза.

Так прошло несколько минут. Нина сидела молча, не перебивая.

— На следующий день на адрес моих родителей пришла телеграмма: приказ о срочной командировке в горячую точку. Всё решилось так быстро, я даже письмо не успел отправить моей Томе. Наш взвод закинули туда, где земля плавилась под ногами, где не только о письмах — о сне некогда было думать. Так прошло 8 месяцев. Нас перебросили в городок, где было более-менее спокойно. И я первым делом побежал на почту. Два письма отправил: Томе и отцу с матерью. От родителей пришёл вскоре долгожданный конверт. А от Тамары... От неё писем не было... А ведь я писал много раз — и всегда лишь тишина в ответ.

Матвей вздохнул и пристально посмотрел на Нину. Она сидела тихо, а по её щеке текла слеза.

— Прошло с тех пор немало лет. Я писал и писал на заученный адрес. Решил, что другого полюбила... А я так никого больше и не встретил.

Весёлость Нины сменилась неподдельной серьёзностью. Её спутник продолжал:

— Полгода назад получил письмо с приглашением от армейского друга Василия, с которым служил на Дальнем Востоке. Думал-думал — и решился. Приехал к нему. Весь день мы вспоминали нашу молодость, боевых товарищей... и мою Тамару. А наутро Василий разбудил меня со словами: «Пойдём твою Тому искать!» Я, честно сказать, не ожидал такого, но всем сердцем об этом мечтал. Мы нашли тот дом, но в нём давно никто не жил. Соседи сменились, но нашлась одна старушка...

Мужчина замолчал, покусывая губы, затем с нескрываемой горечью возобновил рассказ:

— Лучше бы не встречал ту старушку, лучше бы так и думал, что разлюбила она и живёт счастливо. Но... Оказалось, Тамара ждала ребёнка, когда я поехал за тем благословлением. Нашего с ней ребёнка! А во время родов Тома умерла, — он ладонью смахнул слезу, застывшую на его щеке. — Нашу дочку забрала к себе Томина мать, жившая тогда где-то на Волге... Я даже не знаю, как сейчас она, где... Даже имени её не знаю...

В этот момент Матвей положил на стол фотографию, которую все эти годы хранил, согревая своей любовью:

— Это моя Тома.

Девушка посмотрела на неё и заплакала навзрыд. Мужчина не мог понять, что случилось. Лишь спустя несколько минут, когда Нина немного успокоилась, он услышал:

— Это ваша Тома. И это моя мама, которой не стало в ту ночь, когда родилась я, Нина Матвеевна...

Виктор Прутский

р.п. Ордынское, Новосибирская область

БАБУШКА

Почему-то весь день вспоминаю бабушку — её невысокую фигурку, быстрые, несмотря на возраст, движения и добрые, внимательные глаза.

Она жила тогда со своим старшим сыном Петром в Таганроге, а мы в Донбассе. Моя мать постоянно болела, и бабушка приехала на несколько дней проведать свою больную дочь Евдокию (всего у бабушки было три дочери и четыре сына). Это было тяжёлое послевоенное время.

Я учился во втором или третьем классе и был на тот период единственным грамотеем в доме. Ни родители, ни бабушка читать и писать не умели.

И вот однажды, когда мы были с бабушкой одни, я увидел, как она что-то пишет. Медленно, старательно водит пером по бумаге, потом поднимет задумчиво голову, теребя подбородок, и снова склоняется над листком...

— Бабушка, а что ты делаешь? — не поверил я своим глазам.

Я готовил уроки, и она жестом остановила моё любопытство: не мешай, мол, занимайся своим делом.

А через некоторое время подошла и протянула листок, покрытый довольно ровными строчками. Растерянно и с какой-то внутренней опаской попросила:

— Посмотри, Витя, что я написала...

Строчки были хоть и аккуратные, но я не различил в них никаких букв, кроме разве что сплошных «и» или «ш».

— Бабушка, тут ничего не написано, — сказал я с сожалением.

— Ну как же, Витя! Я же вот вижу: ты думаешь и пишешь. И я тоже думала и писала.

Я стал что-то говорить о буквах, из которых состоят слова, вообще о грамоте, а бабушка лишь кивала головой, и в её глазах гас и гас ещё минуту назад горевший огонёк. И будто морщин прибавилось... Она прижала мою голову к груди, провела ладонью по волосам.

— Спасибо, внучек. — И через секунду добавила: — Я так и думала.

Мне было неловко, что невольно разрушил её надежду, пусть и зыбкую. Такую зыбкую, что она, значит, даже постеснялась обратиться с этим вопросом к своему сыну, знавшему грамоту.

— Бабушка, а давай я тебя научу читать, писать!

— Что ты! Глаза уже никуда не годятся, — улыбнулась она. — Ладно, делай уроки, не буду тебе мешать.

Бабушка Алёна, Алёна Васильевна Русанова... В селе Подгорном Белгородской области, откуда родом и мать, и отец, были в основном три фамилии: Прутские, Русановы и Лихвинцевы. Бабушка Алёна — единственная, кого знаю из своей родословной. Ни бабушки по отцу, ни обоих своих дедов и их сестёр и братьев даже никогда не видел. Кто-то погиб в Гражданскую, кто-то умер от голода в коллективизацию, кто-то не пережил 37-й год...

Чем старше становлюсь, тем больше думаю о родителях, бабушке. Никогда они не садились за обеденный стол и не вставали из-за него, не перекрестившись. Но от нас этого не требовали. Понимали, что противостоять безбожной власти невозможно, а навлекать неприятности в школе на детей и внуков — только Бога гневить. Бога, в которого мы не верили... И я не помню каких-то поучений или нотаций со стороны родителей или бабушки. Они воспитывали нас не словами, а своей праведной жизнью.

Не знаю, сколько лет было тогда бабушке. Думаю, что не больше, чем мне сейчас. А это значит, что скоро и я буду там, куда уходят все. Сначала встретят меня мать, отец, старшие братья, а потом подойдёт и бабушка. Она проведёт ладошкой по моим поредевшим волосам и скажет:

— Постарел ты, Витя. Но я тебя всё равно узнала! И не думай, что ты умер. Ты просто вернулся из командировки домой. Ещё будет много таких командировок!

Улыбнётся и тихо, чтоб не слышали остальные, по секрету добавит:

— А буквы здесь совсем не нужны.

ОТЕЦ

Говорил отец мало. Его рабочим инструментом были руки, а не язык. Навсегда запомнилась его фраза: «Если есть хлеб — какой же это голод?» Эта фраза во многом характеризует жизнь, доставшуюся на долю моего отца — Прутского Якова Дмитриевича. Родился он в селе Подгорное Белгородской области в крестьянской семье в 1895 году; в школу ходить не довелось, надо было зарабатывать хлеб насущный. Участвовал в Первой мировой войне, был трижды ранен. При НЭПе жизнь начала было налаживаться, но грянули коллективизация, голод. Уехал с женой и детьми на Донбасс, где, по слухам, можно было найти работу. Вспоминать этот период отец не любил, слишком это было тяжело.

Почти двадцать лет семья жила в землянке, оставшейся от строителей проходившей рядом шоссейной дороги. Их было несколько, таких землянок, лепившихся одна возле другой, в каждой ютились люди, в одной из них и прошло моё детство вместе с тремя старшими братьями. А всего у родителей было шесть детей: дочь и пять сыновей. Двое, в том числе дочь, умерли в младенчестве, а четыре сына остались. Я родился последним, когда матери было уже 40 лет, а отцу 42. Мать Евдокия Дмитриевна, женщина редкой доброты, часто, к сожалению, болела и рано умерла.

Жили мы как бы на хуторе, а работал отец в жилищно-коммунальном хозяйстве в посёлке, находившемся от нас в двух километрах. Возил на лошади с бричкой стройматериалы, уголь. Работа тяжёлая: ведь ты не только «водитель кобылы», как поётся в старой песне, но и грузчик. Но отец хорошо знал

лошадей и любил их. Восторгался умом этих благородных животных. «Если человек на лошади заблудился, то опусти поводья, лошадь сама придёт домой».

Машины после войны были редкостью, и хлеб из пекарни развозили по магазинам тоже на лошадях. Однажды мастер сказал:

— Слушай, у них там кто-то заболел, завтра будешь хлеб возить.

— Дак там же надо расписываться, а я неграмотный, — возразил отец.

Мастер почесал затылок, потом взял клочок бумаги и написал на нём крупными печатными буквами фамилию своего неграмотного работника.

— Вот, — протянул отцу бумажку. — Дома попрактикуешься, а утром мне покажешь.

И до конца дней своих отец, не зная ни одной буквы, рисовал свою фамилию в указанных местах. Подпись походила на детский рисунок, но фамилия читалась чётко.

А вот цифры знал отлично. В закромах моей памяти есть такая картинка: в кухне у окна стол, над ним отрывной календарь, а выше — часы-ходики с гирькой в виде еловой шишки, которую надо было периодически подтягивать.

Отрывной календарь был у нас всегда, сколько себя помню. И вот за столом сидит отец и старательно выводит карандашом на листках календаря цифры. 14-е число — это по старому стилю 1-е, 15-е число — 2-е. И так до конца месяца. Когда я начал ходить в школу, то эту процедуру он доверял проделывать мне. Помню, я это делал красным или синим карандашом.

Отец, как и мать, был человеком верующим и непостижимым для меня образом знал все посты, церковные праздники. А их, кроме всем известных Рождества-Пасхи-Троицы, есть ещё великое множество. Он знал все, но по старому стилю, для чего и нужны были «поправки» в календаре.

В последние годы обычно возил на подводе уголь по накладным (он называл их почему-то «требования»). Этих «требований» у него была обычно целая пачка. Планируя следующий

рабочий день, он иногда их перебирал, некоторые протягивал мне:

— Это Петренко?

— Петренко, — удивлялся я. — А как ты узнал?

Улыбнётся и перебирает дальше. И я не помню, чтобы он хоть раз ошибся.

Отец был верующим человеком, но, как бы это сказать, — без фанатизма. Утром и вечером перед сном он всегда коротко молился. Посещал и церковь, но не часто; до неё было 8 километров, а автобусы тогда не ходили. Раза два, когда я был ещё дошкольником, родители брали и меня с собой. Помню лишь сладкий вкус причастия с чайной ложечки...

Нас, детей, молиться не заставляли и никаких бесед на религиозные темы не проводили. В святом углу всегда была икона и горела лампадка. Книг же не только религиозных, а вообще никаких в доме не было: некому читать. Насколько я могу судить теперь, отношения властей к церкви отец не одобрял, как не одобрял и многое другое. Но не распространялся об этом. Лишь однажды, когда я, как правоверный пионер, очень уж рьяно доказывал преимущества советской власти над царизмом, он улыбнулся и сказал: «Был Николка-дурак — была булка пятак», — определив тем самым цену моей пропаганды.

Прожил отец 86 лет. Болел редко и скончался без мучений. Когда за несколько дней до смерти я спросил его, что болит, он ответил:

— Ничего не болит, и всё болит.

А потом просто остановилось сердце.

И вот уже более тридцати лет его нет. А я хожу по этой грешной земле, часто думаю о нём и многое хотел бы изменить. Но это невозможно.

Прости, отец.

Анна Шувалова

г. Владимир

ТАМ МНОГО ЕЩЁ ОСТАЛОСЬ

Посвящается нашим бабушкам
с благодарностью за их терпение, любовь и мудрость

— Бабусь, а бабусь, ну расскажи ещё, — упрашивали Аня и Лена. — Ну, расскажи, какие вы были.

Лидия Ивановна вздыхает и пристально смотрит на внучек. Эти стрекозы ведь не отстанут. Да и ладно, пусть слушают, пока просят. А то потом вырастут и не станут больше интересоваться их жизнью — жизнью детей войны.

— Хорошо, значит, так, — начала она. Девочки уселись поудобней и приготовились узнать очередную историю из бабушкиного детства. — Были у нас родственники во Владимире. Папина сестра Татьяна с мужем имели там дом. Её муж работал сапожником, и жили они хорошо, в достатке. Да только без детей.

Собралась как-то тётя Таня к нам в гости. Мама заблаговременно купила к чаю коробку шоколадных конфет. Это сейчас всё есть, всё доступно. А тогда достать такое «сокровище» считалось просто чудом. Уж не знаю, сколько мама отдала денег, но эта сладость у нас появилась. Чтобы мы не съели раньше времени предназначенное для встречи гостьи, мама спрятала ту самую коробочку «Ассорти». Только мы всё равно нашли эти «вкусняшки». Нам так хотелось этого шоколадного лакомства, что мы стали таскать по одной штучке. Казалось, что их там столько, что на всех хватит и ещё останется. Как вы понимаете, мы съели все конфеты.

Приезжает к нам тётя Таня. Мама накрывает на стол. Ну, это громко сказано — «накрывает». Одним словом, ставит на стол то, что есть в доме. Подходит время пить чай. Она достала коробку, открыла её, а внутри пусто. Мы всё

подчистили. Сразу стало ясно, кто постарался. Мама посмотрела на нас и ничего не сказала. Не ругала и после того, как ушла наша тётя. Что мы тогда видели? Ничего. Мама осталась одна с четырьмя детьми. Позволить мы себе мало что могли.

Через какое-то время к нам снова приехала тётя Таня и привезла каждому по коробке шоколадных конфет.

НЕ БУДУ

Анечка сидит в углу и старательно надувает губы. Она скрестила руки на груди и насупилась. Из её глаз вот-вот покатятся слёзы. Девочка обиделась на бабушку, потому что та не захотела потакать её капризам. Ну ничего, Анечка ей ещё покажет, устроит ей «райскую жизнь». Ей не совсем понятно, что это означает, но так часто говорили взрослые, когда ругались или ссорились. Значит, это что-то плохое. Вот это-то ей как раз и надо. Уж ей удастся придумать для бабушки «райскую жизнь»!

Из кухни доносятся запахи готовящегося обеда, слышится стук ножа о разделочную доску, удары крышек о кастрюли и сковородки, что-то шипит и шваркает. Бабуля определённо стряпает что-то вкусное. Обиженная глотает слюни и слышит, как урчит в животе от голода. Да, поесть бы Анечка сейчас не отказалась. «Вот оно! — вдруг мелькает в голове. — Та самая «райская жизнь». Ну, теперь держись!»

Немного погодя в комнату заглядывает бабушка.

— Анечка, пойдём обедать. Всё готово, — зовёт она.

— Не пойду, сама свою стряпню ешь, а я не буду, — сердито отвечает внучка.

— Зачем ты так? Не надо дуться, — горько произносит Надежда Ивановна. — Надо поесть, уже время подошло.

— Я же сказала, что не буду. Не хочу, — снова отказывается упрямица.

— Это ты на меня можешь обижаться сколько угодно, а на еду не надо. Пойдём обедать, — повторяет приглашение бабушка и возвращается на кухню.

Анечка признаёт, что в бабулиных словах есть доля правды. Обиделась-то она на бабусю, а не на обед. Эх, как же есть хочется! Проглотила бы враз тарелку супа, а уж бабушкиного обеда и вовсе две порции бы съела!

— Ну хватит, я ей уже устроила «райскую жизнь», теперь можно и подкрепиться. А то так от голода умереть недолго, мне пока ещё жить охота, — говорит девочка сама себе, соскакивает со стула и бежит на кухню.

Уплетая за обе щёки борщ со сметаной, чёрным хлебом и чесноком, Анечка совсем забыла, из-за чего, собственно, обиделась.

ТАК ВАЖНО

Настя зашла в квартиру, быстро переоделась и тут же уселась возле бабушки.

— Ну, как в школе дела? — обратилась к внучке Валерия Павловна.

— Ой, бабушка, знаешь... — начала своё повествование девочка.

Этот разговор был продолжительным. Собственно, как и всегда. Она слушала болтовню ученицы не перебивая, стараясь вникнуть во все подробности, не упустить ни одной детали. Лишь иногда делала замечания, что-то уточняла, переспрашивала. Бабушка всегда с радостью «подставляла свои уши» под бесконечные рассказы Настюши.

— Она тебе ещё не надоела? — как-то спросили её.

— Нет, что вы! — с искренним недоумением воскликнула Валерия Павловна. — С кем же ей ещё обо всём этом говорить? Наоборот, пусть делится всем, что её волнует, беспокоит, интересует. Откажись я хоть один раз уделить ей внимание — и Настя больше не придёт, станет искать другого собеседника, который не прогонит. Лично я предпочитаю быть именно тем человеком, которому внучка доверяет.

Вместо послесловия

Дорогие друзья!

Сейчас вы читаете последнюю страницу второй книги проекта «Дорогие мои старики», которую с большой любовью подготовили для вас коллектив авторов и издательство «Серебро Слов». Нам бы очень хотелось, чтобы тексты, помещённые в сборнике, дали вам повод и пищу для новых размышлений, открыли доселе неизвестные факты и события из истории родного Отечества, побудили вас к осмыслению непростых биографий «золотого запаса» страны – наших стариков.

Их лучшие годы прошли в испытаниях и обстоятельствах абсолютно не похожих на теперешнее время. Бывает, мы не всегда понимаем мотивы их поступков, чувства и страхи. Кто-то, возможно, подумает: между нами пропасть лет, разве можно её преодолеть?! Не спешите делать выводы. Рядом с нами живёт История, и у нас НИКОГДА больше не будет шанса к ней прикоснуться, узнать её из первых уст, если мы сегодня не выслушаем их: старики уходят навсегда... Вместе с ними может безвозвратно исчезнуть что-то очень важное, невосполнимое и светлое: крепость духа, порядочность, честность, патриотизм, наконец.

Мы задумывали этот проект как своеобразную летопись России, как правдивую коллективную повесть о наших старших поколениях, потому что не устоит дом без прочного фундамента, не выдержит бури дерево без надёжных корней, а общество не сможет развиваться, если сотрёт из памяти народной хотя бы одну страницу Истории.

В судьбах наших дорогих стариков, как в капле утренней росы, отражается целый мир: противоречивый, сложный, счастливый. Пусть он и останется таким на страницах наших книг. Пусть будет тем неприкосновенным запасом прочности, который необходим всем нам.

Мы даём старт третьему выпуску из проекта «Дорогие мои старики» и приглашаем авторов и читателей к участию в нём: память о каждом, кто нам дорог, как связующее звено поколений, должна быть жива.

Надежда Казакова,
автор и составитель сборника «Дорогие мои старики»

СОДЕРЖАНИЕ

Н. Казакова. Слово к читателям 3
Светлана Бестужева-Лада 10
Ульяна Васильева-Лавриеня 21
Татьяна Гуркова 62
Сергей Горбунов 74
Иван Данилов 91
Анна Дьяконова 112
Борис Жилов 113
Михаил Забелин 114
Надежда Казакова 148
Людмила Колбасова 160
Иаков Липянский 176
Петр Панасейко 184
Георгий Петров 204
Любовь Потанина 226
Виктор Прутский 230
Анна Шувалова 235
Н. Казакова. Вместо послесловия 238

Дорогие мои старики

Сборник произведений
Выпуск 2

Редколлегия:
С.С. Антипов, И.Е. Витюк,
Д.В. Минаев, Н.В. Казакова

Редактор-составитель: *Н.В. Казакова*
Дизайн обложки: *Е.В. Анисимова*
Корректор: *А.Е. Русских*
Компьютерная вёрстка: *А.А. Минаева*

ООО Издательство «Серебро Слов»
Телефон: *8 (926) 433-33-99*
E-mail: *serebro.slov@gmail.com*
Сайт: *http://tvoyakniga.ru*
Интернет-магазин: *http://tvoyakniga.ru/content/magazin/magazin/*

Подписано в печать 25.02.2019
Формат 60x90/16. Бум. офс. 80 г/м^2.
Объём 15 усл. п/л.
Гарнитура BalticaC.

ISBN 978-5-907154-25-4

